Л. Н. ТОЛСТОЙ

ДВА ГУСАРА

РАССКАЗЫ



Л. Н. ТОЛСТОЙ

ДВА ГУСАРА

РАССКАЗЫ



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1982

Р1
Т53

Текст печатается по изданию:
Л. Н. Толстой. Собр. соч. в двенадцати томах, тт. 2, 3, 10. М., «Художественная литература», 1973, 1975.

На обложке использованы иллюстрации художника
А. КОКОРИНА

Художник
А. РЕМЕННИК

Т $\frac{4702010100\text{-}239}{028(01)\ -\ 82}$ 33 - 82

НАБЕГ

Рассказ волонтера

I

Двенадцатого июля капнтан Хлопов, в эполетах н шашке,— форма, в которой со времеин моего приезда на Кавказ я еще ие видал его,— вошел в ннзкую дверь моей землянки.

— Я прямо от полковннка,— сказал ои, отвечая на вопроснтельиый взгляд, которым я его встретил,— завтра батальон наш выступает.

— Куда?— спросил я.

— В NN. Там иазиачеи сбор войскам.

— А оттуда, верно, будет какое-нибудь движеиие?

— Должио быть.

— Куда же? как вы думаете?

— Что думать? я вам говорю, что знаю. Прискакал вчера ночью татарин от геиерала — привез приказ, чтобы батальону выступать н взять с собою на два дня сухарей; а куда, зачем, надолго ли? — этого, батюшка, ие спрашивают: велеио идти и — довольио.

— Одиако если сухарей берут только иа два дия, стало и войска продержат ие долее.

— Ну, это еще иичего ие значит...

— Да как же так?— спросил я с удивлением.

— Да так же! В Даргн ходили, на неделю сухарей взяли, а пробылн чуть не месяц!

— А мне можно будет с вами идтн?— спросил я, помолчав немного.

— Можио-то можно, да мой совет лучше не ходить. Из чего вам рнсковать?..

— Нет уж, позвольте мне не послушаться вашего совета: я целый месяц жил здесь только затем, чтобы дождаться случая видеть дело,— и вы хотите, чтобы я пропустил его.

— Пожалуй, идите; только, право, ие лучше ли бы вам остаться? Вы бы тут нас подождали, охотились бы; а мы бы пошли с богом. И славио бы!— сказал он такнм убедительным тоном, что мне в первую миууту действительио показалось, что это было бы славно; однако я решительно сказал, что нн за что не остаиусь.

— И чего вы ие видали там?— продолжал убеждать меия капитаи.— Хочется вам узиать, какие сражеиия бывают? прочтите Михайловского-Даиилевского «Опнсаиие войны» — прекрасиая книга: там все подробно опнсано — н где какой корпус стоял, и как сражения происходят.

— Напротнв, это-то меня и не заиимает,— отвечал я.

— Ну, так что же? вам просто хочется, видно, посмотреть, как людей убивают?.. Вот в тридцать втором году был тут тоже неслужащий какой-то, из испаицев, кажется. Два похода с нами ходил, в сиием плаще в каком-то... таки ухлопали молодца. Здесь, батюшка, никого ие удивишь.

Как мне ни совестно было, что капитан так дурио объяснял мое намерение, я и ие покушался разуверять его.

— Что, он храбрый был?— спросил я его.

— А бог его зиает: все, бывало, впереди ездит; где перестрелка, там н он.

— Так, стало быть, храбрый,— сказал я.

— Нет, это ие значит храбрый, что суется туда, где его не спрашивают...

— Что же вы называете храбрым?

— Храбрый? храбрый?— повторил капитан с видом человека, которому в первый раз представляется подобный вопрос.— *Храбрый тот, который ведет себя как следует,*— сказал он, подумав немиого.

Я вспомнил, что Платои определяет храбрость *знанием того, чего нужно и чего не нужно бояться,* и, иесмотря на общиость и неясность выражения в определеиии капитана, я подумал, что основная мысль обоих не так различиа, как могло бы показаться, и что даже определение капитаиа вернее определения греческого философа, потому что, если бы он мог выражаться так же, как Платон, он, верио, сказал бы, что храбр тот, кто боится только того, *чего следует бояться,* а ие того, *чего не нужно бояться.*

Мие хотелось объяснить свою мысль капитаиу.

— Да,— сказал я,— мне кажется, что в каждой опасиости есть выбор, и выбор, сделаиный под влиянием, иапример, чувства долга, есть храбрость, а выбор, сделаиный под влиянием низкого чувства,— трусость; поэтому человека, который из тщеславия, или из любопытства, или из алчиости рискует жизиию, иельзя иазвать храбрым, и, наоборот, человека, который под влияиием честного чувства семейиой обязаиности или просто убеждеиия откажется от опасиости, иельзя иазвать трусом.

Капитаи с каким-то страиииым выражением смотрел иа меия в то время, как я говорил.

— Ну уж этого не умею вам доказать,— сказал он, накладывая трубку,— а вот у нас есть юнкер, так тот любит пофилософствовать. Вы с ним поговорите. Он и стихи пишет.

Я только на Кавказе познакомился с капитаном, но еще в России знал его. Мать его, Марья Ивановна Хлопова, мелкопоместная помещица, живет в двух верстах от моего имения. Перед отъездом моим на Кавказ я был у нее: старушка очень обрадовалась, что я увижу ее Пашеньку (как она называла старого, седого капитана) и — живая грамота — могу рассказать ему про ее житье-бытье и передать посылочку. Накормив меня славным пирогом и полотками, Марья Ивановна вышла в свою спальню и возвратилась оттуда с черной, довольно большой ладанкой, к которой была пришита такая же шелковая ленточка.

— Вот это неопалимой купины наша матушка-заступница,— сказала она, с крестом поцеловав изображение божией матери и передавая мне в руки,— потрудитесь, батюшка, доставьте ему. Видите ли: как он поехал на *Капказ,* я отслужила молебен и дала обещание, коли он будет жив и невредим, заказать этот образок божией матери. Вот уж восемнадцать лет, как заступница и угодники святые милуют его: ни разу ранен не был, а уж в каких, кажется, сражениях не был!.. Как мне Михайло, что с ним был, порассказал, так, верите ли, волос дыбом становится. Ведь я что и знаю про него, так только от чужих: он мне, мой голубчик, ничего про свои походы не пишет — меня напугать боится.

(Уже на Кавказе я узнал, и то не от капитана, что он был четыре раза тяжело ранен, и, само собою разумеется, как о ранах, так и о походах ничего не писал своей матери.)

— Так пусть теперь он это святое изображение на себе носит,— продолжала она,— я его им благословляю. Заступница пресвятая защитит его! Особенно в сражениях, чтобы он всегда его на себе имел. Так и скажи, мой батюшка, что мать твоя так тебе велела.

Я обещался в точности исполнить поручение.

— Я знаю, вы его полюбите, моего Пашеньку,— продолжала старушка,— он такой славный! Верите ли, году не проходит, чтобы он мне денег не присылал, и Аннушке, моей дочери, тоже много помогает; а все из одного жалованья! Истинно век благодарю бога,— заключила она со слезами на глазах,— что дал он мне такое дитя.

— Часто он вам пишет?— спросил я.

— Редко, батюшка: нечто в год раз, и то когда с деньгами, так словечко напишет, а то нет. Ежели, говорит, маменька, я вам не пишу, значит, жив и здоров, а коли что, избави бог, случится, так и без меня напишут.

Когда я отдал капитану подарок матери (это было на моей квартире), он попросил оберточной бумажки, тщательно завернул его и спрятал. Я много говорил ему о подробностях жизни его матери; капитан молчал. Когда я кончил, он отошел в угол и что-то очень долго накладывал трубку.

— Да, славная старуха,— сказал он оттуда несколько глухим голосом,— приведет ли еще бог свидеться.

В этих простых словах выражалось очень много любви и печали.

— Зачем вы здесь служите?— сказал я.

— Надо же служить,— отвечал он с убеждением.— А двойное жалованье для нашего брата, бедного человека, много значит.

Капитан жил бережливо: в карты не играл, кутил редко и курил простой табак, который он, неизвестно почему, называл не тютюн, а *самброталический табак.* Капитан еще прежде нравился мне: у него была одна из тех простых, спокойных русских физиономий, которым приятно и легко смотреть прямо в глаза; но после этого разговора я почувствовал к нему истинное уважение.

II

В четыре часа утра на другой день капитан заехал за мной. На нем были старый, истертый сюртук без эполет, лезгинские широкие штаны, белая папашка с опустившимся пожелтевшим курпеем[1] и незавидная азиатская шашка через плечо. Беленький маштачок[2], на котором он ехал, шел понуря голову, мелкой иноходью и беспрестанно взмахивал жиденьким хвостом. Несмотря на то, что в фигуре доброго капитана было не только мало воинственного, но и красивого, в ней выражалось так много равнодушия ко всему окружающему, что она внушала невольное уважение.

Я ни минуты не заставил его дожидаться, тотчас сел на лошадь, и мы вместе выехали за ворота крепости.

Батальон был уже сажен двести впереди нас и казался какой-то черной сплошной колеблющейся массой. Можно было догадаться, что это была пехота, только потому, что, как частые длинные иглы, виднелись штыки и изредка долетали до слуха звуки солдатской песни, барабана и прелестного тенора, подголоска шестой роты, которым я не раз восхищался еще в укреплении. Дорога шла серединой глубокой и широкой балки[3], подле берега небольшой речки, которая в это время

---

[1] Курпей на кавказском наречии значит овчина. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[2] Маштак на кавказском наречии значит небольшая лошадь. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[3] Балка на кавказском наречии значит овраг, ущелье. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

играла, то есть была в разливе. Стада диких голубей вились около нее: то садились на каменный берег, то, поворачиваясь на воздухе и делая быстрые круги, улетали из вида. Солнце еще не было видно, но верхушка правой стороны балки начинала освещаться. Серые и беловатые камни, желто-зеленый мох, покрытые росой кусты держи-дерева, кизила и карагача обозначались с чрезвычайной ясностию и выпуклостию на прозрачном, золотистом свете восхода; зато другая сторона и лощина, покрытая густым туманом, который волновался дымчатыми неровными слоями, были сыры, мрачны и представляли неуловимую смесь цветов: бледно-лилового, почти черного, темно-зеленого и белого. Прямо перед нами, на темной лазури горизонта, с поражающей ясностью виделись ярко-белые, матовые массы снеговых гор с их причудливыми, но до малейших подробностей изящными тенями и очертаниями. Сверчки, стрекозы и тысячи других насекомых проснулись в высокой траве и наполняли воздух своими ясными, непрерывными звуками: казалось, бесчисленное множество крошечных колокольчиков звенело в самых ушах. В воздухе пахло водой, травой, туманом,— одним словом, пахло ранним прекрасным летним утром. Капитан вырубил огня и закурил трубку; запах *самбротапического табаку* и трута показался мне необыкновенно приятным.

Мы ехали стороной дороги, чтобы скорее догнать пехоту. Капитан казался задумчивее обыкновенного, не выпускал изо рта дагестанской трубочки и с каждым шагом пятками поталкивал ногами свою лошадку, которая, перекачиваясь с боку на бок, прокладывала чуть заметный темно-зеленый след по мокрой высокой траве. Из-под самых ног ее с *«тордоканьем*[1] и тем звуком крыльев, который невольно заставляет вздрагивать охотника, вылетел фазан и медленно стал подниматься кверху. Капитан не обратил на него ни малейшего внимания.

Мы уже почти догоняли батальон, когда сзади нас послышался топот скачущей лошади, и в ту же минуту проскакал мимо очень хорошенький и молоденький юноша в офицерском сюртуке и высокой белой папахе. Поравнявшись с нами, он улыбнулся, кивнул головой капитану и взмахнул плетью... Я успел заметить только, что он как-то особенно грациозно сидел на седле и держал поводья и что у него были прекрасные черные глаза, тонкий носик и едва пробивавшиеся усики. Мне особенно понравилось в нем то, что он не мог не улыбнуться, заметив, что мы любуемся им. По одной этой улыбке можно было заключить, что он еще очень молод.

[1] Тордоканье — крик фазана. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

— И куда скачет?— с недовольным видом пробормотал капитан, не выпуская чубука изо рта.

— Кто это такой?— спросил я его.

— Прапорщик Аланин, субалтерн-офицер моей роты... Еще только в прошлом месяце прибыл из корпуса.

— Верно, он в первый раз идет в дело?— сказал я.

— То-то и радешенек!— отвечал капитан, глубокомысленно покачивая головой.— Молодость!

— Да как же не радоваться? Я понимаю, что для молодого офицера это должно быть очень интересно.

Капитан помолчал минуты две.

— То-то я и говорю: молодость!— продолжал он басом.— Чему радоваться, ничего не видя! Вот как походишь часто, так не порадуешься. Нас вот, положим, теперь двадцать человек офицеров идет: кому-нибудь да убитым или раненым быть — уж это верно. Нынче мне, завтра ему, а послезавтра третьему: так чему же радоваться-то?

III

Едва яркое солнце вышло из-за горы и стало освещать долину, по которой мы шли, волнистые облака тумана рассеялись, и сделалось жарко. Солдаты с ружьями и мешками на плечах медленно шагали по пыльной дороге; в рядах слышались изредка малороссийский говор и смех. Несколько старых солдат в белых кителях — большею частию унтер-офицеры — шли с трубками стороной дороги и степенно разговаривали. Троечные навьюченные верхом повозки подвигались шаг за шагом и поднимали густую неподвижную пыль. Офицеры верхами ехали впереди; иные, как говорится на Кавказе, джигитовали[1], то есть, ударяя плетью по лошади, заставляли ее сделать прыжка четыре и круто останавливались, оборачивая назад голову; другие занимались песенниками, которые, несмотря на жар и духоту, неутомимо играли одну песню за другою.

Сажен сто впереди пехоты, на большом белом коне, с конными татарами, ехал известный в полку за отчаянного храбреца и такого человека, *который хоть кому правду в глаза отрежет,* высокий и красивый офицер в азиатской одежде. На нем были черный бешмет с галунами, такие же ноговицы, новые, плотно обтягивающие ногу чувяки с чиразами[2], желтая черкеска и высокая, заломленная назад папаха. На груди и спине его лежали серебряные галуны, на которых

[1] Джигит — по-кумыцки значит храбрый; переделанное же на русский лад *джигитовать* соответствует слову «храбриться». *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[2] Чиразы значит галуны, на кавказском наречии. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

надеты были натруска и пистолет за спиной; другой пистолет и кинжал в серебряной оправе висели на поясе. Сверх всего этого была опоясана шашка в красных сафьянных ножнах с галунами и надета через плечо винтовка в черном чехле. По его одежде, посадке, манере держаться и вообще по всем движениям заметно было, что он старается быть похожим на татарина. Он даже говорил что-то на неизвестном мне языке татарам, которые ехали с ним; но по недоумевающим, насмешливым взглядам, которые бросали эти последние друг на друга, мне показалось, что они не понимают его. Это был один из наших молодых офицеров, удальцов-джигитов, образовавшихся по Марлинскому и Лермонтову. Эти люди смотрят на Кавказ не иначе, как сквозь призму героев нашего времени, Мулла-Нуров и т. п., и во всех своих действиях руководствуются не собственными наклонностями, а примером этих образцов.

Поручик, например, любил, может быть, общество порядочных женщин и важных людей — генералов, полковников, адъютантов,— даже я уверен, что он очень любил это общество, потому что он был тщеславен в высшей степени,— но он считал своей непременной обязанностью поворачиваться своей грубой стороной ко всем важным людям, хотя грубил им весьма умеренно, и когда появлялась какая-нибудь барыня в крепости, то считал своей обязанностью ходить мимо ее окон с кунаками[1] в одной красной рубахе и одних чувяках на босую ногу и как можно громче кричать и браниться,— но все это не столько с желанием оскорбить ее, сколько с желанием показать, какие у него прекрасные белые ноги и как можно бы было влюбиться в него, если бы он сам захотел этого. Или, часто ходя с двумя-тремя мирными татарами по ночам в горы засаживаться на дороги, чтоб подкарауливать и убивать немирных проезжих татар, хотя сердце не раз говорило ему, что ничего тут удалого нет, он считал себя обязанным заставлять страдать людей, в которых он будто разочарован за что-то и которых он будто бы презирал и ненавидел. Он никогда не снимал с себя двух вещей: огромного образа на шее и кинжала сверх рубашки, с которым он даже спать ложился. Он искренно верил, что у него есть враги. Уверить себя, что ему надо отмстить кому-нибудь и кровью смыть обиду, было для него величайшим наслаждением. Он был убежден, что чувства ненависти, мести и презрения к роду человеческому были самые высокие поэтические чувства. Но любовница его,— черкешенка, разумеется,— с которой мне после случалось видеться, говорила, что он был самый добрый и кроткий человек и что каждый вечер он писал вместе свои мрачные записки, сводил счеты на разграфленной бумаге и на коленях молился богу. И сколько он выстрадал для того, чтобы только перед самим собой казаться тем, чем он хотел быть, потому что товарищи его и солдаты не могли понять его так, как ему хотелось. Раз, в одну из своих ночных экспедиций на дорогу с кунаками, ему случилось ранить пулей в ногу одного немирного чеченца и взять его в плен. Чеченец этот семь недель после этого жил у поручика, и поручик лечил его, ухаживал, как за ближайшим другом, и, когда тот вылечился, с подарками отпустил его. После этого, во время одной экспедиции, когда поручик отступал с цепью, отстреливаясь от неприятеля, он услыхал между врагами, что кто-то его звал по имени, и его раненый кунак выехал вперед и знаками приглашал поручика сделать то же. Поручик подъехал к своему кунаку и пожал ему руку. Горцы стояли поодаль и не стреляли; но как только поручик повернул лошадь назад, несколько человек выстрелили в него, и одна пуля попала вскользь ему ниже спины. Другой раз я сам видел, как в крепости ночью был пожар и две роты солдат тушили его. Среди толпы, освещенная багровым пламенем пожара, появилась вдруг высокая фигура человека на вороной лошади. Фигура расталкивала толпу и ехала к самому огню. Подъехав уже вплоть, поручик соскочил с лошади и побежал в горящий с одного краю дом. Через пять минут поручик вышел оттуда с опаленными волосами и обожженным локтем, неся за пазухой двух голубков, которых он спас от пламени.

Фамилия его была *Розенкранц*; но он часто говорил о своем происхождении, выводил его как-то от варягов и ясно доказывал, что он и предки его были чистые русские.

IV

Солнце прошло половину пути и кидало сквозь раскаленный воздух жаркие лучи на сухую землю. Темно-синее небо было совершенно чисто; только подошвы снеговых гор начинали одеваться бело-лиловыми облаками. Неподвижный воздух, казалось, был наполнен какою-то прозрачною пылью: становилось нестерпимо жарко. Дойдя до небольшого ручья, который тек на половине дороги, войска сделали привал. Солдаты, составив ружья, бросились к ручью; батальонный командир сел в тени, на барабан, и, выразив на полном лице степень своего чина, с некоторыми офицерами расположился закусывать; капитан лег на траве под ротной повозкой; храбрый поручик Розенкранц и еще несколько молодых офицеров, поместясь на разостланных бурках, собрались кутить, как то заметно было по расставленным около них фляжкам и бутылкам и по особенному одушевлению песенников, которые, стоя полукругом перед ними,

[1] Кунак — приятель, друг, на кавказском наречии. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

с присвистом играли плясовую кавказскую песню на голос лезгинки:

Шамиль вздумал бунтоваться
В прошедшие годы...
Трай-рай, ра-та-тай...
В прошедшие годы.

В числе этих офицеров был и молоденький прапорщик, который обогнал нас утром. Он был очень забавен: глаза его блестели, язык немного путался; ему хотелось целоваться и изъясняться в любви со всеми... Бедный мальчик! он еще не знал, что в этом положении можно быть смешным, что его откровенность и нежности, с которыми он ко всем навязывался, расположат других не к любви, которой ему так хотелось, а к насмешке,— не знал и того, что, когда он, разгоревшись, бросился наконец на бурку и, облокотясь на руку, откинул назад свои черные густые волосы, он был необыкновенно мил. Два офицера сидели под повозкой и на погребце играли в дурачки.

Я с любопытством вслушивался в разговоры солдат и офицеров и внимательно всматривался в выражения их физиономий; но решительно ни в ком я не мог заметить и тени того беспокойства, которое испытывал сам: шуточки, смехи, рассказы выражали общую беззаботность и равнодушие к предстоящей опасности. Как будто нельзя и предположить, что некоторым уже не суждено вернуться по этой дороге!

V

В седьмом часу вечера, пыльные и усталые, мы вступили в широкие укрепленные ворота крепости NN. Солнце садилось и бросало косые розовые лучи на живописные батарейки и сады с высокими раинами, окружавшие крепость, на засеянные желтеющие поля и на белые облака, которые, столпясь около снеговых гор, как будто подражая им, образовывали цепь не менее причудливую и красивую. Молодой полумесяц, как прозрачное облачко, виднелся на горизонте. В ауле, расположенном около ворот, татарин на крыше сакли сзывал правоверных к молитве; песенники заливались с новой удалью и энергией.

Отдохнув и оправясь немного, я отправился к знакомому мне адъютанту, с тем чтобы попросить его доложить о моем намерении генералу. По дороге от форштата[1], где я остановился, я успел заметить в крепости NN. то, чего никак не ожидал. Хорошенькая двухместная каретка, в которой видна была модная шляпка и слышался французский говор, обогнала меня. Из растворенного окна комендантского дома долетали звуки какой-то «Лизанька» или «Катенька-польки», играемой на плохом, расстроенном фортепьяно. В духане, мимо которого я проходил, с папиросами в руках, за стаканами вина сидели несколько писарей, и я слышал, как один говорил другому: «Уж позвольте... что насчет политики, Марья Григорьевна у нас первая дама». Сгорбленный жид, в изношенном сюртуке, с болезненной физиономией, тащил писклявую сломанную шарманку, и по всему форштату разносились звуки финала из «Лючии». Две женщины в шумящих платьях, повязанные шелковыми платками и с ярко-цветными зонтиками в руках, плавно прошли мимо меня по дощатому тротуару. Две девицы, одна в розовом, другая в голубом платье, с открытыми головами, стояли у завалинки низенького домика и принужденно заливались тоненьким смехом, с видимым желанием обратить на себя внимание проходящих офицеров. Офицеры, в новых сюртуках, белых перчатках и блестящих эполетах, щеголяли по улицам и бульвару.

Я нашел своего знакомого в нижнем этаже генеральского дома. Только что я успел объяснить ему свое желание и он — сказать мне, что оно очень может быть исполнено, как мимо окна, у которого мы сидели, простучала хорошенькая каретка, которую я заметил, и остановилась у крыльца. Из кареты вышел высокий, стройный мужчина в пехотном мундире с майорскими эполетами и прошел к генералу.

— Ах, извините, пожалуйста,— сказал мне адъютант, вставая с места,— мне непременно нужно доложить генералу.

— Кто это приехал?— спросил я.

— Графиня,— отвечал он и, застегивая мундир, побежал наверх.

Через несколько минут на крыльцо вышел невысокий, но весьма красивый человек, в сюртуке без эполет, с белым крестом в петличке. За ним вышли майор, адъютант и еще каких-то два офицера. В походке, голосе, во всех движениях генерала выказывался человек, который себе очень хорошо знает высокую цену.

— Bonsoir, madame la comtesse[1],— сказал он, подавая руку в окно кареты.

Ручка в лайковой перчатке пожала его руку, и хорошенькое, улыбающееся личико в желтой шляпке показалось в окне кареты.

Из всего разговора, продолжавшегося несколько минут, я слышал только, проходя мимо, как генерал, улыбаясь, сказал:

— Vous savez, que j'ai fait voeu de combattre les infidèles; prenez donc garde de le devenir[2].

В карете засмеялись.

— Adieu donc, cher général[3].

---

[1] предместья *(от нем.* Vorstadt).

[1] Добрый вечер, графиня *(фр.)*.

[2] Вы знаете, что я дал обет сражаться с неверными, так остерегайтесь, чтоб не сделаться неверной *(фр.)*.

[3] Ну, прощайте, дорогой генерал *(фр.)*.

— Non, a revoir,— сказал генерал, всходя на ступеньки лестницы,— n'oubliez pas, que je m'invite pour le soirée de demain[1].

Карета застучала дальше.

«Вот еще человек,— думал я, возвращаясь домой,— имеющий все, чего только добиваются русские люди: чин, богатство, знатность,— и этот человек перед боем, который бог один знает чем кончится, шутит с хорошенькой женщиной и обещает пить у нее чай на другой день, точно так же, как будто он встретился с нею на бале!»

Тут же, у этого же адъютанта, я встретил одного человека, который еще больше удивил меня: это — молодой поручик К. полка, отличавшийся своей почти женской кротостью и робостью, который пришел к адъютанту излиять свою досаду и негодование на людей, которые будто интриговали против него, чтобы его не назначили в предстоящее дело. Он говорил, что это гадость так поступать, что это не по-товарищески, что он будет это помнить ему и т. д. Сколько я ни вглядывался в выражение его лица, сколько ни вслушивался в звук его голоса, я не мог не убедиться, что он нисколько не притворялся, а был глубоко возмущен и огорчен, что ему не позволили идти стрелять в черкесов и находиться под их выстрелами; он был так огорчен, как бывает огорчен ребенок, которого только что несправедливо высекли... Я совершенно ничего не понимал.

VI

В десять часов вечера должны были выступить войска. В половине девятого я сел на лошадь и поехал к генералу; но, предполагая, что он и адъютант его заняты, я остановился на улице, привязал лошадь к забору и сел на завалинку, с тем чтобы, как только выедет генерал, догнать его.

Солнечный жар и блеск уже сменились прохладой ночи и неярким светом молодого месяца, который, образовывая около себя бледный светящийся полукруг на темной синеве звездного неба, начинал опускаться; в окнах домов и щелях ставень землянок засветились огни. Стройные раины садов, видневшиеся на горизонте из-за выбеленных, освещаемых луною землянок с камышовыми крышами, казались еще выше и чернее.

Длинные тени домов, деревьев, заборов ложились красиво по светлой пыльной дороге... На реке без умолку звенели лягушки;[2] на улицах слышны были то торопливые шаги и говор, то скок лошади; с форштата изредка долетали звуки шарманки: то *виют витры*, то какого-нибудь «Aurora-Walzer»[1].

Я не скажу, о чем я задумался: во-первых, потому, что мне совестно было бы признаться в мрачных мыслях, которые неотвязчивой чередой набегали мне в душу, тогда как кругом себя я замечал только веселость и радость, а во-вторых, потому, что это нейдет к моему рассказу. Я задумался так, что даже не заметил, как колокол пробил одиннадцать и генерал со свитою проехал мимо меня.

Торопливо сев на лошадь, я пустился догонять отряд.

Арьергард еще был в воротах крепости. Насилу пробрался я по мосту между столпившимися орудиями, ящиками, ротными повозками и шумно распоряжающимися офицерами. Выехав за ворота, я рысью объехал чуть не на версту растянувшиеся, молчаливо двигающиеся в темноте войска и догнал генерала. Проезжая мимо вытянувшейся в одно орудие артиллерии и ехавших верхом между орудиями офицеров, меня, как оскорбительный диссонанс среди тихой и торжественной гармонии, поразил немецкий голос, кричавший: «Агхтингхист, падай паааальник!»— и голос солдатика, торопливо кричавший: «Шевченко! поручик огня спрашивают».

Бо́льшая часть неба покрылась длинными темно-серыми тучами; только кое-где между ними блестели неяркие звезды. Месяц скрылся уже за близким горизонтом черных гор, которые виднелись направо, и бросал на верхушки их слабый и дрожащий полусвет, резко противоположный с непроницаемым мраком, покрывавшим их подошвы. В воздухе было тепло и так тихо, что казалось, ни одна травка, ни одно облачко не шевелились. Было так темно, что на самом близком расстоянии невозможно было определять предметы; по сторонам дороги представлялись мне то скалы, то животные, то какие-то странные люди,— и я узнавал, что это были кусты, только тогда, когда слышал их шелест и чувствовал свежесть росы, которою они были покрыты.

Перед собой я видел сплошную колеблющуюся черную стену, за которой следовало несколько движущихся пятен: это были авангард конницы и генерал со свитой. Сзади нас подвигалась такая же мрачная масса; но она была ниже первой: это была пехота.

Во всем отряде царствовала такая тишина, что ясно слышались все сливающиеся, исполненные таинственной прелести звуки ночи: далекий заунывный вой чакалок, похожий то на отчаянный плач, то на хохот, звонкие однообразные песни сверчка, лягушки, перепела, какой-то приближающийся гул, причины которого я никак не мог объяснить себе,

[1] Нет, до свидания,— не забудьте, что я напросился к вам завтра на вечер *(фр.)*.

[2] Лягушки на Кавказе производят звук, не имеющий ничего общего с кваканием русских лягушек. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[1] «Аврора-вальс» *(нем.)*.

и все те иочные, чуть слышиые движеиия природы, которые иевозможно ии понять, ни определить, слнвались в одии полный прекрасный звук, который мы иазываем тишииою иочи. Тишина эта иарушалась или, скорее, сливалась с глухим топотом копыт н шелестом высокой травы, которые производил медленно двигающийся отряд.

Только изредка слышались в рядах звои тяжелого орудия, звук столкиувшихся штыков, сдержаииый говор н фырканье лошади.

Природа дышала прнмирительной красотой и снлой.

Неужели тесио жить людям иа этом прекрасиом свете, под этим иензмернмым звездным иебом? Неужелн может среди этой обаятельиой природы удержаться в душе человека чувство злобы, мщеиня или страсти истребления себе подобиых? Все недоброе в сердце человека должио бы, кажется, исчезиуть в прикосновении с природой — этим непосредственнейшнм выражеиием красоты н добра.

VII

Мы ехалн уже более двух часов. Меня пробирала дрожь и начинало клоиить ко сну. Во мраке смутио представлялнсь те же иеясиые предметы: в иекотором отдалеиии чериая стеиа, такие же движущнеся пятиа; подле самого меня круп белой лошадн, которая, помахнвая хвостом, широко раздвигала задинмн иогами; спниа в белой черкеске, на которой покачивалась виитовка в черном чехле н вндиелась белая головка пистолета в шитом кобуре; огоиек папиросы, освещающий русые усы, бобровый воротинк и руку в замшевой перчатке. Я иагибался к шее лошади, закрывал глаза н забывался иа несколько минут; потом вдруг зиакомый топот и шелест поражали меня: я озирался,— н мие казалось, что я стою иа месте, что черная стена, которая была передо миой, двигается иа меия, или что стеиа эта остановилась, и я сейчас наеду иа иее. В одиу из таких минут меия поразил еще сильиее тот приближающийся непрерывиый гул, причииы которого я ие мог отгадать. Это был шум воды. Мы входилн в глубокое ущелье и приближались к гориой реке, которая была в это время во всем разливе[1]. Гул усиливался, сырая трава стаиовилась гуще и выше, кусты попадались чаще, н горизоит постепеиио суживался. Изредка на мрачном фоие гор вспыхивали в различиых местах яркие огии н тотчас же исчезали.

— Скажите, пожалуйста, что это за огии?— спросил я шепотом у татариав, ехавшего подле меия.

— А ты ие зиаешь?— отвечал ои.

— Не зиаю.

[1] Разлнв рек на Кавказе бывает в июле месяце. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

— *Это горской солома на таяк*[1] *связал и огонь махать будет.*

— Зачем же это?

— *Чтобы всякий человек знал,— русской пришел. Теперь в аулах,—* прибавил ои, засмеявшнсь,— *ай-ай, томаша*[2] *идет, всякий хурда-мурда*[3] *будет в балка тащить.*

— Разве в горах уже зиают, что отряд идет?— спросил я.

— *Эй! как можно не знает! всегда знает: наши народ такой!*

— Так н Шамиль теперь сбирается в поход? — сказал я.

— *Йок*[4],— отвечал ои, качая головой в зиак отрицания.— *Шамиль на похода ходить не будет! Шамиль наиб*[5] *пошлет, а сам труба смотреть будет, наверху.*

— А далеко ои живет?

— *Далеко нету. Вот, левая сторона, верста десять будет.*

— Почему же ты зиаешь?— спросил я.— Разве ты был там?

— *Был: наша все в горах был.*

— И Шамиля видел?

— *Пих! Шамиля наша видно не будет. Сто, триста, тысяча мюрид*[6] *кругом. Шамиль середка будет!—* прибавил он с выражением подобострастного уважения.

Взглянув кверху, можио было заметить, что выяснившееся иебо иачниало светлеть иа востоке и Стожары опускаться к горизонту; но в ущелье, по которому мы шли, было сыро н мрачио.

Вдруг немного впереди нас, в темноте, зажглось несколько огоньков; в то же мгновеиие с визгом прожужжали пули, и среди окружающей тишииы далеко раздались выстрелы и громкий произительный крик. Это был иеприятельскнй передовой пикет. Татары, составлявшие его, гикиули, выстрелили наудачу н разбежались.

Все смолкло. Генерал подозвал переводчика. Татарии в белой черкеске подъехал к иему и о чем-то шепотом н с жестами довольио долго говорил с ним.

— Полковиик Хасаиов, прикажите рассыпать цепь,— сказал геиерал тихнм, протяжиым, ио виятиым голосом.

[1] Т а я к значнт шест, на кавказском наречнн. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[2] Т о м а ш а значнт хлопоты, на особенном наречнн, нзобретенном русскнмн н татарами для разговора между собой. Есть много слов на этом странном наречнн, корень которых нет возможностн отыскать нн в русском, нн в татарском языках. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[3] Х у р д а - м у р д а — пожнтки, на том же наречии. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[4] Й о к — по-татарскн значнт нет. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[5] Н а н б а м н называют людей, которым вверена от Шамиля какая-нибудь часть управлення. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[6] Слово м ю р и д нмеет много значеннй, но в том смысле, в котором употреблено здесь, значнт что-то среднее между адъютантом н телохранителем. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

Отряд подошел к реке. Чериые горы ущелья остались сзади; иачииало светать. Небосклон, иа котором чуть заметиы были бледные, иеяркие звезды, казался выше; зариица иачинала ярко блестеть иа востоке; свежий, прохватывающий ветерок тянул с запада, н светлый тумаи, как пар, подымался над шумящей рекой.

VIII

Вожак показал брод, и аваигард коиницы, а вслед за инм н генерал со свитою сталн переправляться. Вода была лошадям по груди, с иеобыкиовеииой снлой рвалась между белых камией, которые в ниых местах виднелись на уровие воды, и образовывала около ног лошадей пеиящиеся, шумящие струи. Лошади удивлялись шуму воды, подымалн головы, настораживали уши, но мерио и осторожио шагали против течения по иеровиому диу. Седокн подбирали ноги и оружие. Пехотиые солдаты, буквально в одинх рубахах, подиимая над водою ружья, на которые надеты былн узлы с одеждой, схватясь человек по двадцати рука с рукою, с заметиым, по их иапряжеииым лицам, усилием старались противостоять течеиию. Артиллерийские ездовые с громким криком рысью пускали лошадей в воду. Орудия н зеленые ящики, через которые изредка хлестала вода, звеиели о каменное дио; ио добрые чериоморки дружио иатягивали уиосы, пенилн воду н с мокрым хвостом и гривой выбирались иа другой берег.

Как скоро переправа коичилась, геиерал вдруг выразил на своем лице какую-то задумчивость и серьезиость, повериул лошадь и с коиницей рысью поехал по широкой, окружеииой лесом поляие, открывшейся перед иами. Казачьи коииые цепи рассыпались вдоль опушек.

В лесу видиеется пеший человек в черкеске и папахе, другой, третий... Кто-то из офицеров говорит: «Это татары». Вот показался дымок из-за дерева... выстрел, другой... Наши частые выстрелы заглушают иеприятельские. Только изредка пуля, с медлеиным звуком, похожим на полет пчелы, пролетая мимо, доказывает, что ие все выстрелы иаши. Вот пехота беглым шагом н орудия на рысях прошли в цепь; слышатся гудящие выстрелы из орудий, металлический звук полета картечи, шипеиие ракет, трескотия ружей. Коииица, пехота и артиллерия видиеются со всех сторои по обширной поляие. Дымки орудий, ракет и ружей сливаются с покрытой росою зелеиью и тумаиом. Полковник Хасаиов подскакивает к геиералу и иа всем марш-марше круто остаиавливает лошадь.

— Ваше превосходительство!— говорил ои, приставляя руку к папахе,— прикажите пустить кавалерию: показались зиачки[1],— и ои указывает плетью на коииых татар, впереди которых едут два человека на белых лошадях с красиыми и сииими лоскутами иа палках.

— С богом, Иван Михайлыч!— говорит геиерал.

Полковиик иа месте поворачивает лошадь, выхватывает шашку н кричит: «Ура!»

«Урра! Урра! Урра!»— раздается в рядах, и коиинца несется за ним.

Все смотрят с участием: вои зиачок, другой, третий, четвертый...

Неприятель, ие дождаясь атаки, скрывается в лес и открывает оттуда ружейный огоиь. Пули летают чаще.

— Quel charmant coup d'oeil![2]— говорит геиерал, слегка припрыгивая по-аиглийски иа своей вороиой тоикоиогой лошадке.

— Charrmant! — отвечает, грассируя, майор и, ударяя плетью по лошади, подъезжает к геиералу.— C'est un vrrai plaisirr, que la guerre dans un aussi beau pays[3],— говорит ои.

— Et surtout en bonne compagnie[4],— прибавляет геиерал с приятиой улыбкой.

Майор иаклоияется.

В это время с быстрым иеприятиым шипеинем пролетает иеприятельское ядро и ударяется во что-то; сзади слышеи стои раиеиого. Этот стои так страиио поражает меия, что воинствеииая картииа мгиовеиио теряет для меия всю свою прелесть; но иикто, кроме меия, как будто ие замечает этого: майор смеется, как кажется, с большим увлечеиием; другой офицер совершенно спокойио повторяет начатые слова речи; геиерал смотрит в противоположиую сторону и со спокойиейшей улыбкой говорит что-то по-фраицузски.

— Прикажете отвечать иа их выстрелы?— спрашивает, подскакивая, иачальиик артиллерии.

— Да, попугайте их,— иебрежио говорит геиерал, закуривая сигару.

Батарея выстраивается, и иачииается пальба. Земля стоиет от выстрелов, огии беспрестаиио вспыхивают, и дым, в котором едва можио различить движущуюся прислугу около орудий, застилает глаза.

Аул обстреляи. Снова подъезжает полковиик Хасаиов и, по приказаиию геиерала, летит в аул. Крик войны сиова раздается, и коииица исчезает в подиятом ею облаке пыли.

Зрелище было истиико величествеииое. Одио только для меия, как человека, ие

---

[1] Значки между горцами имеют почти зиачеине знамен, с тою только рвзницею, что всякий джигит может сделвть себе значок и возить его. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[2] Квкое прекрасиое зрелище! *(фр.)*

[3] Очаровательно! Истииное ивслвжденне — воевать в такой прекрасиой страие *(фр.)*.

[4] И особенно в хорошей компаинн *(фр.)*.

принимавшего участия в деле и непривычного, портило вообще впечатление, было то, что мне казалось лишним — и это движение, и одушевление, и крики. Невольно приходило сравнение человека, который сплеча топором рубил бы воздух.

IX

Аул уже был занят нашими войсками, и ни одной неприятельской души не оставалось в нем, когда генерал со свитою, в которую вмешался и я, подъехал к нему.

Длинные чистые сакли с плоскими земляными крышами и красными трубами были расположены по неровным каменистым буграм, между которыми текла небольшая река. С одной стороны виднелись освещенные ярким солнечным светом зеленые сады с огромными грушевыми и лычевыми[1] деревьями; с другой — торчали какие-то странные тени, перпендикулярно стоящие высокие камни кладбища и длинные деревянные шесты с приделанными к концам шарами и разноцветными флагами. (Это были могилы джигитов.)

Войска в порядке стояли за воротами.

Через минуту драгуны, казаки, пехотинцы с видимой радостью рассыпались по кривым переулкам, и пустой аул мгновенно оживился. Там рушится кровля, стучит топор по крепкому дереву и выламывают дощатую дверь; тут загораются стог сена, забор, сакля, и густой дым столбом подымается по ясному воздуху. Вот казак тащит куль муки и ковер; солдат с радостным лицом выносит из сакли жестяной таз и какую-то тряпку; другой, расставив руки, старается поймать двух кур, которые с кудахтаньем бьются около забора; третий нашел где-то огромный кумган[2] с молоком, пьет из него и с громким хохотом бросает потом на землю.

Батальон, с которым я шел из крепости N., тоже был в ауле. Капитан сидел на крыше сакли и пускал из коротенькой трубочки струйки дыма *самброталического табаку* с таким равнодушным видом, что, когда я увидал его, я забыл, что я в немирном ауле, и мне показалось, что я в нем совершенно дома.

— А! и вы тут? — сказал он, заметив меня.

Высокая фигура поручика Розенкранца то там, то сям мелькала в ауле; он без умолку распоряжался и имел вид человека, чем-то крайне озабоченного. Я видел, как он с торжествующим видом вышел из одной сакли; вслед за ним двое солдат вели связанного старого татарина. Старик, всю одежду которого составляли распадавшиеся в лохмотьях пестрый бешмет и лоскутные портки, был так хил, что туго стянутые за сгорбленной спиной костлявые руки его, казалось, едва держались в плечах, и кривые босые ноги насилу передвигались. Лицо его и даже часть бритой головы были изрыты глубокими морщинами; искривленный беззубый рот, окруженный седыми подстриженными усами и бородой, беспрестанно шевелился, как будто жуя что-то; но в красных, лишенных ресниц глазах еще блистал огонь и ясно выражалось старческое равнодушие к жизни.

Розенкранц через переводчика спросил его, зачем он не ушел с другими.

— Куда мне идти? — сказал он, спокойно глядя в сторону.

— Туда, куда другие ушли, — заметил кто-то.

— Джигиты пошли драться с русскими, а я старик.

— Разве ты не боишься русских?

— Что мне русские сделают? Я старик, — сказал он опять, небрежно оглядывая кружок, составившийся около него.

Возвращаясь назад, я видел, как этот старик, без шапки, со связанными руками, трясся за седлом линейного казака и с тем же бесстрастным выражением смотрел вокруг себя. Он был необходим для размена пленных.

Я влез на крышу и расположился подле капитана.

— Неприятеля, кажется, было немного, — сказал я ему, желая узнать его мнение о бывшем деле.

— Неприятеля? — повторил он с удивлением, — да его вовсе не было. Разве это называется неприятель?.. Вот вечерком посмотрите, как мы отступать станем: увидите, как провожать начнут, что их там высыплет! — прибавил он, указывая трубкой на перелесок, который мы проходили утром.

— Что это такое? — спросил я с беспокойством, прерывая капитана и указывая на собравшихся недалеко от нас около чего-то донских казаков.

Между ними слышалось что-то похожее на плач ребенка и слова:

— Э, не руби... стой... увидят... Нож есть, Евстигнеич?.. Давай нож...

— Что-нибудь делят, подлецы, — спокойно сказал капитан.

Но в то же самое время с разгоревшимся, испуганным лицом вдруг выбежал из-за угла хорошенький прапорщик и, махая руками, бросился к казакам.

— Не трогайте, не бейте его! — кричал он детским голосом.

Увидев офицера, казаки расступились и выпустили из рук белого козленка. Молодой прапорщик совершенно растерялся, забормотал что-то и со сконфуженной физиономией остановился перед ним. Увидав на крыше меня и капитана, он покраснел еще больше и, припрыгивая, подбежал к нам.

— Я думал, что это они ребенка хотят убить, — сказал он, робко улыбаясь.

---

[1] Лыча — мелкая слива. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*
[2] Кумган — горшок. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

X

Генерал с конницей поехал вперед. Батальон, с которым я шел из крепости N., остался в арьергарде. Роты капитана Хлопова и поручика Розенкранца отступали вместе.

Предсказание капитана вполне оправдалось: как только мы вступили в узкий перелесок, про который он говорил, с обеих сторон стали беспрестанно мелькать конные и пешие горцы, и так близко, что я очень хорошо видел, как некоторые, согнувшись, с винтовкой в руках, перебегали от одного дерева к другому.

Капитан снял шапку и набожно перекрестился; некоторые старые солдаты сделали то же. В лесу послышались гиканье, слова: «Иай гяур! Урус иай!» Сухие, короткие винтовочные выстрелы следовали один за другим, и пули визжали с обеих сторон. Наши молча отвечали беглым огнем; в рядах их только изредка слышались замечания вроде следующих: «*Он*[1] откуда палит, *ему* хорошо из-за леса, *орудию* бы нужно...» и т. д.

Орудия въезжали в цепь, и после нескольких залпов картечью неприятель, казалось, ослабевал, но через минуту и с каждым шагом, который делали войска, снова усиливал огонь, крики и гиканье.

Едва мы отступили сажен на триста от аула, как над нами со свистом стали летать неприятельские ядра. Я видел, как ядром убило солдата... Но зачем рассказывать подробности этой страшной картины, когда я сам дорого бы дал, чтобы забыть ее!

Поручик Розенкранц сам стрелял из винтовки, не умолкая ни на минуту, хриплым голосом кричал на солдат и во весь дух скакал с одного конца цепи на другой. Он был несколько бледен, и это очень шло к его воинственному лицу.

Хорошенький прапорщик был в восторге; прекрасные черные глаза его блестели отвагой, рот слегка улыбался; он беспрестанно подъезжал к капитану и просил его позволения броситься *на ура*.

— Мы их отобьем,— убедительно говорил он,— право, отобьем.

— Не нужно,— кротко отвечал капитан,— надо отступать.

Рота капитана занимала опушку леса и лежа отстреливалась от неприятеля. Капитан в своем изношенном сюртуке и взъерошенной шапочке, опустив поводья белому маштачку и подкорчив на коротких стременах ноги, молча стоял на одном месте. (Солдаты так хорошо знали и делали свое дело, что нечего было приказывать им.) Только изредка он возвышал голос, прикрикивая на тех, которые подымали головы.

[1] Он — собирательное название, под которым кавказские солдаты разумеют вообще неприятеля. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

В фигуре капитана было очень мало воинственного, но зато в ней было столько истины и простоты, что она необыкновенно поразила меня. «Вот кто истинно храбр»,— сказалось мне невольно.

Он был *точно таким же, каким я всегда видал его:* те же спокойные движения, тот же ровный голос, то же выражение бесхитростности на его некрасивом, но простом лице; только по более, чем обыкновенно, светлому взгляду можно было заметить в нем внимание человека, спокойно занятого своим делом. Легко сказать: *таким же, как и всегда.* Но сколько различных оттенков я замечал в других: один хочет казаться спокойнее, другой суровее, третий веселее, чем обыкновенно; по лицу же капитана заметно, что он и не понимает, зачем казаться.

Француз, который при Ватерлоо сказал: «La garde meurt, mais ne se rend pas»[1],— и другие, в особенности французские герои, которые говорили достопамятные изречения, были храбры и действительно говорили достопамятные изречения; но между их храбростью и храбростью капитана есть та разница, что если бы великое слово, в каком бы то ни было случае, даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не сказал бы его: во-первых, потому, что, сказав великое слово, он боялся бы этим самым испортить великое дело, а во-вторых, потому, что, когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнению, особенная и высокая черта русской храбрости; и как же после этого не болеть русскому сердцу, когда между нашими молодыми воинами слышишь французские пошлые фразы, имеющие претензию на подражание устарелому французскому рыцарству?..

Вдруг в той стороне, где стоял хорошенький прапорщик со взводом, послышалось недружное и негромкое «ура». Оглянувшись на этот крик, я увидел человек тридцать солдат, которые с ружьями в руках и мешками на плечах насилу-насилу бежали по вспаханному полю. Они спотыкались, но всё подвигались вперед и кричали. Впереди их, выхватив шашку, скакал молодой прапорщик.

Все скрылось в лесу...

Через несколько минут гиканья и трескотни из лесу выбежала испуганная лошадь, и в опушке показались солдаты, выносившие убитых и раненых; в числе последних был молодой прапорщик. Два солдата держали его под мышки. Он был бледен, как платок, и хорошенькая головка, на которой заметна была только тень того воинственного восторга, который одушевлял ее за минуту перед этим, как-то страшно углубилась между плеч и спустилась на грудь. На белой рубашке под расстегнутым сюртуком виднелось небольшое кровавое пятнышко.

[1] «Гвардия умирает, но не сдается» *(фр.)*.

— Ах, какая жалость! — сказал я невольно, отворачиваясь от этого печального зрелища.

— Известно, жалко,— сказал старый солдат, который с угрюмым видом, облокотясь на ружье, стоял подле меня.— Ничего не боится: как же этак можно!— прибавил он, пристально глядя на раненого.— Глуп еще — вот и поплатился.

— А ты разве боишься?— спросил я.

— А то нет!

XI

Четыре солдата на носилках несли прапорщика; за ними форштатский солдат вел худую, разбитую лошадь, с навьюченными на нее двумя зелеными ящиками, в которых хранилась фельдшерская принадлежность. Дожидались доктора. Офицеры подъезжали к носилкам и старались ободрить и утешить раненого.

— Ну, брат Аланин, не скоро опять можно будет поплясать с ложечками,— сказал с улыбкой подъехавший поручик Розенкранц.

Он, должно быть, полагал, что слова эти поддержат бодрость хорошенького прапорщика; но, сколько можно было заметить по холодно-печальному выраженю взгляда последнего, слова эти не произвели желанного действия.

Подъехал и капитан. Он пристально посмотрел на раненого, и на всегда равнодушно-холодном лице его выразилось искреннее сожаление.

— Что, дорогой мой Анатолий Иваныч? — сказал он голосом, звучащим таким нежным участием, какого я не ожидал от него,— видно, так богу угодно.

Раненый оглянулся; бледное лицо его оживилось печальной улыбкой.

— Да, вас не послушался.

— Скажите лучше: так богу угодно,— повторил капитан.

Приехавший доктор принял от фельдшера бинты, зонд и другую принадлежность и, засучивая рукава, с ободрительной улыбкой подошел к раненому.

— Что, видно, и вам сделали дырочку на целом месте,— сказал он шутливо-небрежным тоном,— покажите-ка.

Прапорщик повиновался; но в выражении, с которым он взглянул на веселого доктора, были удивление и упрек, которых не заметил этот последний. Он принялся зондировать рану и осматривать ее со всех сторон; но выведенный из терпения раненый с тяжелым стоном отодвинул его руку...

— Оставьте меня,— сказал он чуть слышным голосом,— все равно я умру.

С этими словами он упал на спину, и через пять минут, когда я, подходя к группе, образовавшейся подле него, спросил у солдата: «Что прапорщик?», мне отвечали: *«Отходит»*.

XII

Уже было поздно, когда отряд, построившись широкой колонной, с песнями подходил к крепости.

Солнце скрылось за снеговым хребтом и бросало последние розовые лучи на длинное, тонкое облако, остановившееся на ясном, прозрачном горизонте. Снеговые горы начинали скрываться в лиловом тумане; только верхняя линия их обозначалась с чрезвычайной ясностью на багровом свете заката. Давно взошедший прозрачный месяц начинал белеть на темной лазури. Зелень травы и деревьев чернела и покрывалась росою. Темные массы войск мерно шумели и двигались по роскошному лугу; в различных сторонах слышались бубны, барабаны и веселые песни. Подголосок шестой роты звучал изо всех сил, и, исполненные чувства и силы, звуки его чистого грудного тенора далеко разносились по прозрачному вечернему воздуху.

1853

СЕВАСТОПОЛЬ В ДЕКАБРЕ МЕСЯЦЕ

Утренняя заря только что начинает окрашивать небосклон над Сапун-горою; темно-синяя поверхность моря сбросила с себя уже сумрак ночи и ждет первого луча, чтобы заиграть веселым блеском; с бухты несет холодом и туманом; снега нет — все черно, но утренний резкий мороз хватает за лицо и трещит под ногами, и далекий неумолкаемый гул моря, изредка прерываемый раскатистыми выстрелами в Севастополе, один нарушает тишину утра. На кораблях глухо бьет восьмая стклянка.

На Северной денная деятельность понемногу начинает заменять спокойствие ночи: где прошла смена часовых, побрякивая ружьями; где доктор уже спешит к госпиталю; где солдатик вылез из землянки, моет оледенелой водой загорелое лицо и, оборотясь на зардевшийся восток, быстро крестясь, молится богу; где высокая тяжелая *маджара* на верблюдах со скрипом протащилась на кладбище хоронить окровавленных покойников, которыми она чуть не доверху наложена... Вы подходите к пристани — особенный запах каменного угля, навоза, сырости и говядины поражает вас; тысячи разнородных предметов — дрова, мясо, туры, мука, железо и т. п.— кучей лежат около пристани; солдаты раз-

ных полков, с мешками и ружьями, без мешков и без ружей, толпятся тут, курят, бранятся, перетаскивают тяжести на пароход, который, дымясь, стоит около помоста; вольные ялики, наполненные всякого рода народом — солдатами, моряками, купцами, женщинами,— причаливают и отчаливают от пристани.

— На Графскую, ваше благородие? Пожалуйте,— предлагают вам свои услуги два или три отставных матроса, вставая из яликов.

Вы выбираете тот, который к вам поближе, шагаете через полусгнивший труп какой-то гнедой лошади, которая тут в грязи лежит около лодки, и проходите к рулю. Вы отчалили от берега. Кругом вас блестящее уже на утреннем солнце море, впереди — старый матрос в верблюжьем пальто и молодой белоголовый мальчик, которые молча усердно работают веслами. Вы смотрите и на полосатые громады кораблей, близко и далеко рассыпанных по бухте, и на черные небольшие точки шлюпок, движущихся по блестящей лазури, и на красивые светлые строения города, окрашенные розовыми лучами утреннего солнца, виднеющиеся на той стороне, и на пенящуюся белую линию бона и затопленных кораблей, от которых кой-где грустно торчат черные концы мачт, и на далекий неприятельский флот, маячащий на хрустальном горизонте моря, и на пенящиеся струи, в которых прыгают соляные пузырики, подымаемые веслами; вы слушаете равномерные звуки ударов весел, звуки голосов, по воде долетающих до вас, и величественные звуки стрельбы, которая, как вам кажется, усиливается в Севастополе.

Не может быть, чтобы при мысли, что и вы в Севастополе, не проникли в душу вашу чувства какого-то мужества, гордости и чтоб кровь не стала быстрее обращаться в ваших жилах...

— Ваше благородие! прямо под Кистентина[1] держите,— скажет вам старик матрос, оборотясь назад, чтобы поверить направление, которое вы даете лодке,— вправо руля.

— А на нем пушки-то еще все,— заметит беловолосый парень, проходя мимо корабля и разглядывая его.

— А то как же: он новый, на нем Корнилов жил,— заметит старик, тоже взглядывая на корабль.

— Вишь ты, где разорвало!— скажет мальчик после долгого молчания, взглядывая на белое облачко расходящегося дыма, вдруг появившегося высоко над Южной бухтой и сопровождаемого резким звуком разрыва бомбы.

— Это *он* с новой батареи ныче палит,— прибавит старик, равнодушно поплевывая на руку.— Ну, навались, Мишка, баркас перегоним.— И ваш ялик быстрее подвигается вперед по широкой зыби бухты, действительно перегоняет тяжелый баркас, на котором навалены какие-то кули и неровно гребут неловкие солдаты, и пристает между множеством причаленных всякого рода лодок к Графской пристани.

На набережной шумно шевелятся толпы серых солдат, черных матросов и пестрых женщин. Бабы продают булки, русские мужики с самоварами кричат: *сбитень горячий,* и тут же на первых ступенях валяются заржавевшие ядры, бомбы, картечи и чугунные пушки разных калибров. Немного далее большая площадь, на которой валяются какие-то огромные брусья, пушечные станки, спящие солдаты; стоят лошади, повозки, зеленые орудия и ящики, пехотные козлы; двигаются солдаты, матросы, офицеры, женщины, дети, купцы; ездят телеги с сеном, с кулями и с бочками; кой-где проедут казак и офицер верхом, генерал на дрожках. Направо улица загорожена баррикадой, на которой в амбразурах стоят какие-то маленькие пушки, и около них сидит матрос, покуривая трубочку. Налево красивый дом с римскими цифрами на фронтоне, под которым стоят солдаты и окровавленные носилки,— везде вы видите неприятные следы военного лагеря. Первое впечатление ваше непременно самое неприятное: странное смешение лагерной и городской жизни, красивого города и грязного бивуака не только не красиво, но кажется отвратительным беспорядком; вам даже покажется, что все перепуганы, суетятся, не знают, что делать. Но вглядитесь ближе в лица этих людей, движущихся вокруг вас, и вы поймете совсем другое. Посмотрите хоть на этого фурштатского солдатика, который ведет поить какую-то гнедую тройку и так спокойно мурлыкает себе что-то под нос, что, очевидно, он не заблудится в этой разнородной толпе, которой для него и не существует, но что он исполняет свое дело, какое бы оно ни было — поить лошадей или таскать орудия,— так же спокойно, и самоуверенно, и равнодушно, как бы все это происходило где-нибудь в Туле или в Саранске. То же выражение читаете вы и на лице этого офицера, который в безукоризненно белых перчатках проходит мимо, и в лице матроса, который курит, сидя на баррикаде, и в лице рабочих солдат, с носилками дожидающихся на крыльце бывшего Собрания, и в лице этой девицы, которая, боясь замочить свое розовое платье, по камешкам перепрыгивает чрез улицу.

Да! вам непременно предстоит разочарование, ежели вы в первый раз въезжаете в Севастополь. Напрасно вы будете искать хоть на одном лице следов суетливости, растерянности или даже энтузиазма, готовности к смерти, решимости,— ничего этого нет: вы видите будничных людей, спокойно занятых будничным делом, так что,

[1] Корабль «Константин». *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

может быть, вы упрекиете себя в нзлншией восторженностн, усомнитесь немного в справедлнвостн понятня о геройстве защнтннков Севастополя, которое составнлось в вас по рассказам, описаниям н внда н звуков с Северной стороны. Но прежде чем сомневаться, сходнте на бастноны, посмотрнте защитннков Севастополя на самом месте защнты илн, лучше, зайдите прямо напротнв в этот дом, бывшнй прежде Севастопольскнм собраинем н на крыльце которого стоят солдаты с иоснлкамн,— вы увндите там защитннков Севастополя, увндите там ужасные н грустные, велнкне н забавиые, но нзумительиые, возвышающие душу зрелнща.

Вы входнте в большую залу Собрання. Только что вы отворнли дверь, внд н запах сорока нлн пятидесятн ампутационных и самых тяжело раиенных больиых, однх на койках, большей частью на полу, вдруг поражает вас. Не верьте чувству, которое удерживает вас иа пороге залы,— это дурное чувство,— идите вперед, не стыдитесь того, что вы как будто прншлн *смотреть* на страдальцев, не стыднтесь подойти н поговорнть с ними: несчастиые любят вндеть человеческое сочувствующее лнцо, любят рассказать про свон страдания н услышать слова любвн н участня. Вы проходите посредние постелей н нщете лнцо менее строгое н страдающее, к которому вы решитесь подойти, чтобы побеседовать.

— Ты куда раиеи?— спрашиваете вы иерешительио и робко у одного старого исхудалого солдата, который, сндя на койке, следнт за вамн добродушным взглядом и как будто приглашает подойти к себе. Я говорю: «робко спрашнваете», потому что страдаиия, кроме глубокого сочувствия, внушают почему-то страх оскорбнть н высокое уважение к тому, кто переиесет их.

— В иогу,— отвечает солдат; но в это самое время вы самн замечаете по складкам одеяла, что у иего ноги нет выше колена.— Слава богу теперь,— прнбавляет он,— на выписку хочу.

— А давно ты уже ранен?

— Да вот шестая иеделя пошла, ваше благородие!

— Что же, болнт у тебя теперь?

— Нет, теперь не болит, ннчего; только как будто в икре ноет, когда иепогода, а то ннчего.

— Как же ты это был раиеи?

— На пятом баксионе, ваше благородие, как первая бандировка была: навел пушку, стал отходнть, этакнм манером, к другой амбразуре, как *он* ударит меия по иоге, ровио как в яму оступился. Глядь, а ногн нет.

— Неужелн больио не было в эту первую мииуту?

— Ничего; только как горячим чем меия пхиули в ногу.

— Ну, а потом?

— И потом иичего; только как кожу иатягивать стали, так саднило как будто. Оно первое дело, ваше благородне, *не думать много:* как не думаешь, оно тебе н ннчего. Все больше оттого, что думает человек.

В это время к вам подходнт женщина в сереньком полосатом платье н повязанная черным платком; она вмешнвается в ваш разговор с матросом н начннает рассказывать про него, про его страдання, про отчаяиное положенне, в котором он был четыре иедели, про то, как, бывшн ранен, остановил носнлкн, с тем чтобы посмотреть на залп нашей батарен, как велнкие князья говорнлн с ним н пожаловалн ему двадцать пять рублей, н как ои сказал нм, что ои опять хочет на бастнон, с тем чтобы учнть молодых, ежелн уже сам работать не может. Говоря все это одинм духом, женщина эта смотрнт то на вас, то на матроса, который, отвернувшнсь и как будто не слушая ее, щиплет у себя на подушке корпию, н глаза ее блестят какнм-то особенным восторгом.

— Это хозяйка моя, ваше благородие!— замечает вам матрос с таким выражеинем, как будто говорит: «Уж вы ее нзвиннте. Известно, бабье дело — глупые слова говорнт».

Вы иачннаете поиимать защитииков Севастополя; вам стаиовнтся почему-то совестно за самого себя перед этнм человеком. Вам хотелось бы сказать ему слишком миого, чтобы выразить ему свое сочувствие и удивление; ио вы ие находнте слов или недовольны темн, которые прнходят вам в голову,— и вы молча склоияетесь перед этим молчалнвым, бессозиательным величием н твердостью духа, этой стыдлнвостью перед собственым достоииством.

— Ну, дай бог тебе поскорее поправиться,— говорите вы ему и останавливаетесь перед другим больиым, который лежит иа полу и, как кажется, в нестерпимых страдаииях ожидает смертн.

Это белокурый, с пухлым и бледным лицом человек. Он лежит навзничь, закииув иазад левую руку, в положении, выражающем жестокое страданне. Сухой открытый рот с трудом выпускает хрнпящее дыханне; голубые оловянные глаза закачеиы кверху, и из-под сбившегося одеяла высуиут остаток правой руки, обернутый бинтами. Тяжелый запах мертвого тела сильиее поражает вас, и пожнрающий внутреиний жар, проиикающнй все члены страдальца, проиикает как будто и вас.

— Что, ои без памяти?— спрашиваете вы у женщниы, которая ндет за вами и ласково, как на родиого, смотрит иа вас.

— Нет, еще слышнт, да уж очеиь плох,— прибавляет она шепотом.— Я его ныиче чаем поила — что ж, хоть н чужой, все иадо жалость иметь,— так уж ие пил почти.

— Как ты себя чувствуешь? — спрашиваете вы его.

Раиеный поворачивает зрачки на ваш голос, ио не видит н ие поинмает вас.

— У сердце гхорнть.

Немиого далее вы видите старого солдата, который перемеияет белье. Лнцо н тело его какого-то коричневого цвета и худы, как скелет. Рукн у иего совсем иет: оиа вылущена в плече. Он сидит бодро, он поправился; ио по мертвому, тусклому взгляду, по ужасной худобе н морщинам лица вы внднте, что это существо, уже выстрадавшее лучшую часть своей жизнн.

С другой стороны вы увндnте на койке страдальческое, бледное н нежное лнцо женщниы, на котором играет во всю щеку горячечиый румянец.

— Это нашу матроску пятого чнсла в ногу задело бомбой,— скажет вам ваша путеводнтельинца,— она мужу на бастион обедать носила.

— Что ж, отрезалн?

— Выще колена отрезалн.

Теперь, ежелн нервы ваши крепки, пройднте в дверь налево: в той комиате делают перевязкн н операцнн. Вы увиднте там докторов с окровавлениымн по локти руками и бледными угрюмыми физнономнямн, занятых около койки, на которой, с открытыми глазамн и говоря, как в бреду, бессмысленные, иногда простые н трогательные слова, лежнт раиеный под влияинем хлороформа. Доктора заияты отвратнтельным, но благодетельиым делом ампутаций. Вы увиднте, как острый крнвой иож входит в белое здоровое тело; увиднте, как с ужасным, разднрающнм криком и проклятнямн раненый вдруг прнходит в чувство; увидите, как фельдшер бросит в угол отрезаииую руку; увидите, как иа носилках лежит, в той же комиате, другой раиеный и, глядя на операцню товарнща, корчится и стоиет не столько от фнзической боли, сколько от моральиых страданий ожндаиня,— увиднте ужасные, потрясающие душу зрелища; увидите войиу ие в правильном, красивом и блестящем строе, с музыкой и барабаииым боем, с развевающимися зиамеиами и гарцующими геиералами, а увндите войиу в иастоящем ее выражеиии — в крови, в страдаииях, в смерти...

Выходя из этого дома страдаиий, вы иепремеиио испытаете отрадное чувство, полнее вдохнете в себя свежий воздух, почувствуете удовольствие в созиаиии своего здоровья, ио вместе с тем в созерцаиии этих страдаиий почерпиете сознание своего инчтожества и спокойио, без иерешимости пойдете иа бастиоиы...

«Что зиачат смерть и страдаиия такого иичтожиого червяка, как я, в сравнеиии с столькими смертями и столькими страдаииями?» Но вид чистого иеба, блестящего солнца, красивого города, отвореиной церкви и движущегося по разным иаправлеиням воеииого люда скоро приведет ваш дух в иормальное состояние легкомыслия, малеиьких забот н увлечеиия одним настоящим.

Навстречу попадутся вам, может быть, из церкви похороны какого-инбудь офнцера, с розовым гробом н музыкой и развевающимися хоругвями; до слуха вашего долетят, может быть, звуки стрельбы с бастноиов, но это ие иаведет вас на прежние мыслн; похороиы покажутся вам весьма красивым вонственным зрелнщем, звукн — весьма красивыми вониствеиными звуками, н вы ие соеднните нн с этнм зрелищем, ни с этимн звукамн мысли ясной, переиесеиной на себя, о страданиях н смертн, как вы это сделалн на перевязочном пункте.

Пройдя церковь н баррнкаду, вы войдете в самую оживленную внутреннею жизнью часть города. С обенх сторон вывескн лавок, трактнров. Купцы, женщнны в шляпках н платочках, щеголеватые офицеры — все говорнт вам о твердостн духа, самоуверенностн, безопасиостн жнтелей.

Зайдите в трактир направо, ежелн вы хотнте послушать толки моряков н офнцеров: там уж, верно, ндут рассказы про нынешнюю ночь, про Феньку, про дело двадцать четвертого, про то, как дорого н иехорошо подают котлетки, н про то, как убит тот-то и тот-то товарищ.

— Черт возьми, как ныиче у иас плохо!— говорит басом белобрысенький безусый морской офицерик в зеленом вязаном шарфе.

— Где у нас?— спрашивает его другой.

— На четвертом бастионе,— отвечает молодеиький офнцер, н вы непременно с бо́льшим виниманием н даже иекоторым уважеиием посмотрите на белобрысеиького офицера при словах: «иа четвертом бастиоие». Его слишком большая развязиость, размахивание руками, громкий смех и голос, казавшиеся вам иахальством, покажутся вам тем особеииым бретерским иастроеинем духа, которое приобретают ииые очеиь молодые люди после опасиости; ио все-таки вы подумаете, что ои стаиет вам рассказывать, как плохо иа четвертом бастиоие от бомб и пуль: иичуть ие бывало! плохо оттого, что грязио. «Пройтн иа батарею нельзя»,— скажет ои, показывая иа сапоги, выше икор покрытые грязью. «А у меия ныиче лучшего комеидора убили, прямо в лоб влепило»,— скажет другой. «Кого это? Митюхииа?»— «Нет... Да что, дадут ли мие телятииы? Вот каиальи!— прибавит ои к трактириому слуге.— Не Митюхииа, а Абросимова. Молодец такой — в шести вылазках был».

На другом углу стола, за тарелками котлет с горошком и бутылкой кислого крымского виниа, иазываемого «бордо», сидят два пехотиых офицера: одии, молодой, с красиым воротииком и с двумя звездочками иа шииели, рассказывает другому, старому, с черным воротииком и без звездочек, про альмиское дело. Первый уже иемиого выпил, и по остаиовкам, которые бывают в его рассказе,

по нерешительному взгляду, выражающему сомнение в том, что ему верят, и главное, что слишком велика роль, которую он играл во всем этом, и слишком все страшно, заметно, что он сильно отклоняется от строгого повествования истины. Но вам не до этих рассказов, которые вы долго еще будете слушать во всех углах России: вы хотите скорее идти на бастионы, именно на четвертый, про который вам так много и так различно рассказывали. Когда кто-нибудь говорит, что он был на четвертом бастионе, он говорит это с особенным удовольствием и гордостью; когда кто говорит: «Я иду на четвертый бастион»,— непременно заметны в нем маленькое волнение или слишком большое равнодушие; когда хотят подшутить над кем-нибудь, говорят: «Тебя бы поставить на четвертый бастион»; когда встречают носилки и спрашивают: «Откуда?»— большей частью отвечают: «С четвертого бастиона». Вообще же существуют два совершенно различные мнения про этот страшный бастион: тех, которые никогда на нем не были и которые убеждены, что четвертый бастион есть верная могила для каждого, кто пойдет на него, и тех, которые живут на нем, как белобрысенький мичман, и которые, говоря про четвертый бастион, скажут вам, сухо или грязно там, тепло или холодно в землянке и т. д.

В полчаса, которые вы провели в трактире, погода успела перемениться: туман, расстилавшийся по морю, собрался в серые, скучные, сырые тучи и закрыл солнце; какая-то печальная изморось сыплется сверху и мочит крыши, тротуары и солдатские шинели...

Пройдя еще одну баррикаду, вы выходите из дверей направо и поднимаетесь вверх по большой улице. За этой баррикадой дома по обеим сторонам улицы необитаемы, вывесок нет, двери закрыты досками, окна выбиты, где отбит угол стены, где пробита крыша. Строения кажутся старыми, испытавшими всякое горе и нужду ветеранами и как будто гордо и несколько презрительно смотрят на вас. По дороге спотыкаетесь вы на валяющиеся ядра и в ямы с водой, вырытые в каменном грунте бомбами. По улице встречаете вы и обгоняете команды солдат, пластунов, офицеров; изредка встречаются женщина или ребенок, но женщина уже не в шляпке, а матроска в старой шубейке и в солдатских сапогах. Проходя дальше по улице и спустясь под маленький изволок, вы замечаете вокруг себя уже не дома, а какие-то странные груды развалин-камней, досок, глины, бревен; впереди себя на крутой горе видите какое-то черное, грязное пространство, изрытое канавами, и это-то впереди и есть четвертый бастион... Здесь народу встречается еще меньше, женщин совсем не видно, солдаты идут скоро, по дороге попадаются капли крови, и непременно встретите тут четырех солдат с носилками и на носилках бледно-желтоватое лицо и окровавленную шинель. Ежели вы спросите: «Куда ранен?»— носильщики сердито, не поворачиваясь к вам, скажут: в ногу или в руку, ежели он ранен легко; или сурово промолчат, ежели из-за носилок не видно головы и он уже умер или тяжело ранен.

Недалекий свист ядра или бомбы, в то самое время как вы станете подниматься на гору, неприятно поразит вас. Вы вдруг поймете, и совсем иначе, чем понимали прежде, значение тех звуков выстрелов, которые вы слушали в городе. Какое-нибудь тихо-отрадное воспоминание вдруг блеснет в вашем воображении; собственная ваша личность начнет занимать вас больше, чем наблюдения; у вас станет меньше внимания ко всему окружающему, и какое-то неприятное чувство нерешимости вдруг овладеет вами. Несмотря на этот подленький голос при виде опасности, вдруг заговоривший внутри вас, вы, особенно взглянув на солдата, который, размахивая руками и осклизаясь под гору, по жидкой грязи, рысью, со смехом бежит мимо вас,— вы заставляете молчать этот голос, невольно выпрямляете грудь, поднимаете выше голову и карабкаетесь вверх на скользкую глинистую гору. Только что вы немного взобрались в гору, справа и слева вас начинают жужжать штуцерные пули, и вы, может быть, призадумаетесь, не идти ли вам по траншее, которая ведет параллельно с дорогой; но траншея эта наполнена такой жидкой, желтой, вонючей грязью выше колена, что вы непременно выберете дорогу по горе, тем более что вы видите, *все идут по дороге.* Пройдя шагов двести, вы входите в изрытое грязное пространство, окруженное со всех сторон турами, насыпями, погребами, платформами, землянками, на которых стоят большие чугунные орудия и правильными кучами лежат ядра. Все это кажется вам нагороженным без всякой цели, связи и порядка. Где на батарее сидит кучка матросов, где посередине площадки, до половины потонув в грязи, лежит разбитая пушка, где пехотный солдатик, с ружьем переходящий через батареи и с трудом вытаскивающий ноги из липкой грязи. Но везде, со всех сторон и во всех местах, видите черепки, неразорванные бомбы, ядра, следы лагеря, и все это затопленное в жидкой, вязкой грязи. Как вам кажется, недалеко от себя слышите вы удар ядра, со всех сторон, кажется, слышите различные звуки пуль — жужжащие, как пчела, свистящие, быстрые или визжащие, как струна,— слышите ужасный гул выстрела, потрясающий всех вас, и который вам кажется чем-то ужасно страшным.

«Так вот он, четвертый бастион, вот оно это страшное, действительно ужасное место!» — думаете вы себе, испытывая маленькое чувство гордости и большое чувство подав-

ленного страха. Но разочаруйтесь: это еще не четвертый бастион. Это Язоновский редут — место сравнительно очень безопасное и вовсе не страшное. Чтобы идти на четвертый бастион, возьмите направо, по этой узкой траншее, по которой, нагнувшись, побрел пехотный солдатик. По траншее этой встретите вы, может быть, опять носилки, матроса, солдат с лопатами, увидите проводники мин, землянки в грязи, в которые, согнувшись, могут влезать только два человека, и там увидите пластунов черноморских батальонов, которые там переобуваются, едят, курят трубки, живут, и увидите опять везде ту же вонючую грязь, следы лагеря и брошенный чугун во всевозможных видах. Пройдя еще шагов триста, вы снова выходите на батарею — на площадку, изрытую ямами и обставленную турами, насыпанными землей, орудиями на платформах и земляными валами. Здесь увидите вы, может быть, человек пять матросов, играющих в карты под бруствером, и морского офицера, который, заметив в вас нового человека, любопытного, с удовольствием покажет вам свое хозяйство и все, что для вас может быть интересного. Офицер этот так спокойно свертывает папиросу из желтой бумаги, сидя на орудии, так спокойно прохаживается от одной амбразуры к другой, так спокойно, без малейшей аффектации говорит с вами, что, несмотря на пули, которые чаще, чем прежде, жужжат над вами, вы сами становитесь хладнокровны и внимательно расспрашиваете и слушаете рассказы офицера. Офицер этот расскажет вам,— но только, ежели вы его расспросите,— про бомбардированье пятого числа, расскажет, как на его батарее только одно орудие могло действовать, и из всей прислуги осталось восемь человек, и как все-таки на другое утро, шестого, он *палил*[1] из всех орудий; расскажет вам, как пятого попала бомба в матросскую землянку и положила одиннадцать человек; покажет вам из амбразуры батареи и траншеи неприятельские, которые не дальше здесь как в тридцати — сорока саженях. Одного я боюсь, что под влиянием жужжания пуль, высовываясь из амбразуры, чтобы посмотреть неприятеля, вы ничего не увидите, а ежели увидите, то очень удивитесь, что этот белый каменистый вал, который так близко от вас и на котором вспыхивают белые дымки, этот-то белый вал и есть неприятель — *он*, как говорят солдаты и матросы.

Даже очень может быть, что морской офицер, из тщеславия или просто так, чтобы доставить себе удовольствие, захочет при вас пострелять немного. «Послать комендора и прислугу к пушке»,— и человек четырнадцать матросов живо, весело, кто засовывая в карман трубку, кто дожевывая сухарь, постукивая подкованными сапогами по платформе, подойдут к пушке и зарядят ее. Вглядитесь в лица, в осанки и в движения этих людей: в каждой морщине этого загорелого скуластого лица, в каждой мышце, в ширине этих плеч, в толщине этих ног, обутых в громадные сапоги, в каждом движении, спокойном, твердом, неторопливом, видны эти главные черты, составляющие силу русского,— простоты и упрямства; но здесь на каждом лице кажется вам, что опасность, злоба и страдания войны, кроме этих главных признаков, проложили еще следы сознания своего достоинства и высокой мысли и чувства.

Вдруг ужаснейший, потрясающий не одни ушные органы, но все существо ваше, гул поражает вас так, что вы вздрагиваете всем телом. Вслед за тем вы слышите удаляющийся свист снаряда, и густой пороховой дым застилает вас, платформу и черные фигуры движущихся по ней матросов. По случаю этого нашего выстрела вы услышите различные толки матросов и увидите их одушевление и проявление чувства, которого вы не ожидали видеть, может быть,— это чувство злобы, мщения врагу, которое таится в душе каждого. «В самую *абразуру* попало; кажись, убило двух... вон понесли»,— услышите вы радостные восклицания. «А вот он рассерчает: сейчас пустит сюда»,— скажет кто-нибудь; и действительно, скоро вслед за этим вы увидите впереди себя молнию, дым; часовой, стоящий на бруствере, крикнет: «Пу-ушка!» И вслед за этим мимо вас взвизгнет ядро, шлепнется в землю и воронкой взбросит вкруг себя брызги грязи и камни. Батарейный командир рассердится за это ядро, прикажет зарядить другое и третье орудия, неприятель тоже станет отвечать нам, и вы испытаете интересные чувства, услышите и увидите интересные вещи. Часовой опять закричит: «Пушка!» — и вы услышите тот же звук и удар, те же брызги, или закричит: «Маркела!»[1] — и вы услышите равномерное, довольно приятное и такое, с которым с трудом соединяется мысль об ужасном, посвистывание бомбы, услышите приближающееся к вам и ускоряющееся это посвистывание, потом увидите черный шар, удар о землю, ощутительный, звенящий разрыв бомбы. Со свистом и визгом разлетятся потом осколки, зашуршат в воздухе камни, и забрызгает вас грязью. При этих звуках вы испытаете странное чувство наслаждения и вместе страха. В ту минуту, как снаряд, вы знаете, летит на вас, вам непременно придет в голову, что снаряд этот убьет вас; но чувство самолюбия поддерживает вас, и никто не замечает ножа, который режет вам сердце. Но зато, когда снаряд пролетел, не задев вас, вы оживаете, и какое-то отрадное, невыразимо приятное чувство, но только на мгновение, овладевает вами, так что вы находите какую-то особенную прелесть в опасности, в этой игре жизнью

[1] Моряки все говорят палить, а не стрелять. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

[1] Мортира. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

н смертью; вам хочется, чтобы еще н еще поблнже упалн около вас ядро нлн бомба. Но вот еще часовой прокрнчал своим громким, густым голосом: «Маркела!», еще посвистыванье, удар и разрыв бомбы; но вместе с этнм звуком вас поражает стон человека. Вы подходнте к раненому, который, в кровн н грязн, нмеет какой-то странный нечеловеческнй вид, в одно время с носилками. У матроса вырвана часть грудн. В первые мииуты на забрызганном грязью лнце его вндны однн нспуг н какое-то притворное преждевременное выраженне страдання, свойственное человеку в таком положенин; но в то время как ему прнносят носилкн н он сам на здоровый бок ложится на них, вы замечаете, что выражение это сменяется выраженнем какой-то восторженностн и высокой, невысказанной мысли: глаза горят ярче, зубы сжимаются, голова с усилнем поднимается выше; и в то время как его подннмают, он останавливает носилки и с трудом, дрожащнм голосом говорит товарнщам: «Простнте, братцы!» — еще хочет сказать что-то, и вндно, что хочет сказать что-то трогательное, но повторяет только еще раз: «Простнте, братцы!» В это время товарищ-матрос подходнт к нему, надевает фуражку на голову, которую подставляет ему раненый, н спокойно, равнодушно, размахнвая рукамн, возвращается к своему орудию. «Это вот каждый день этак человек семь нли восемь»,— говорит вам морской офицер, отвечая на выражение ужаса, выражающегося на вашем лнце, зевая н свертывая папнросу нз желтой бумаги...

. . . .

Итак, вы виделн защитников Севастополя на самом месте защиты н идете назад, почему-то не обращая никакого внимания на ядра н пули, продолжающне свистать по всей дороге до разрушенного театра,— ндете с спокойным, возвысившнмся духом. Главное, отрадное убежденне, которое вы вынеслн,— это убеждение в невозможности взять Севастополь, и не только взять Севастополь, но поколебать где бы то ни было силу русского народа,— и эту невозможность видели вы не в этом множестве траверсов, брустверов, хнтросплетенных траншей, мин и орудий, одних на других, из которых вы ничего не понялн, но виделн ее в глазах, речах, прнемах, в том, что называется духом защнтников Севастополя. То, что онн делают, делают онн так просто, так малонапряженно н усиленно, что, вы убеждены, онн еще могут сделать во сто раз больше... они всё могут сделать. Вы понимаете, что чувство, которое заставляет работать нх, не есть то чувство мелочностн, тщеславия, забывчивости, которое испытывалн вы самн, но какое-нибудь другое чувство, более властное, которое сделало нз них людей, так же спокойно живущнх под ядрамн, прн ста случайностях смертн вместо одной, которой подвержены все люди, н жнвущих в этн условиях средн беспрерывного труда, бдения н грязн. Из-за креста, из-за названия, нз угрозы не могут принять людн эти ужасные условия: должна быть другая, высокая побудительная причнна. И эта прнчина есть чувство, редко проявляющееся, стыдливое в русском, но лежащее в глубине душн каждого,— любовь к родине. Только теперь рассказы о первых временах осады Севастополя, когда в нем не было укреплений, не было войск, не было фнзической возможности удержать его и все-такн не было ни малейшего сомнения, что он не отдастся неприятелю,— о временах, когда этот герой, достойный древней Грецнн,— Корннлов, объезжая войска, говорнл: «Умрем, ребята, а не отдаднм Севастополя»,— н нашн русскне, неспособные к фразерству, отвечалн: «Умрем! ура!» — только теперь рассказы про этн времена перестали быть для вас прекрасным исторнческнм преданнем, но сделалнсь достоверностью, фактом. Вы ясно поймете, вообразнте себе тех людей, которых вы сейчас вnделн, теми героями, которые в те тяжелые времена не упали, а возвышалнсь духом н с наслажденнем готовнлнсь к смертн, не за город, а за родину. Надолго оставит в России велнкне следы эта эпопея Севастополя, которой героем был народ русский...

Уже вечереет. Солнце перед самым закатом вышло нз-за серых туч, покрывающнх небо, н вдруг багряным светом осветило лиловые тучн, зеленоватое море, покрытое кораблями и лодками, колыхаемое ровной шнрокой зыбью, и белые строения города, н народ, движущийся по улицам. По воде разносятся звуки какого-то старинного вальса, который нграет полковая музыка на бульваре, н звукн выстрелов с бастнонов, которые странно вторят нм.

Севастополь. 1855 года, 25 апреля.

СЕВАСТОПОЛЬ В МАЕ

I

Уже шесть месяцев прошло с тех пор, как просвистало первое ядро с бастионов Севастополя и взрыло землю на работах неприятеля, и с тех пор тысячи бомб, ядер н пуль не переставалн летать с бастионов в траншеи н с траншей на бастионы и ангел смерти не переставал парить над инмн.

Тысячи людскнх самолюбий успели оскорбиться, тысячи успелн удовлетворнться, надуться, тысячи — успокоиться в объятиях смертн. Сколько звездочек надето, сколько снято, сколько Анн, Владимнров, сколько

розовых гробов и полотняных покровов! А все те же звуки раздаются с бастионов, все так же — с невольным трепетом и суеверным страхом — смотрят в ясный вечер французы из своего лагеря на желтоватую изрытую землю бастионов Севастополя, на черные движущиеся по ним фигуры наших матросов и считают амбразуры, из которых сердито торчат чугунные пушки; все так же в трубу рассматривает с вышки телеграфа штурманский унтер-офицер пестрые фигуры французов, их батареи, палатки, колонны, движущиеся по Зеленой горе, и дымки, вспыхивающие в траншеях, и все с тем же жаром стремятся с различных сторон света разнородные толпы людей, с еще более разнородными желаниями, к этому роковому месту.

А вопрос, не решенный дипломатами, еще меньше решается порохом и кровью.

Мне часто приходила странная мысль: что, ежели бы одна воюющая сторона предложила другой — выслать из каждой армии по одному солдату? Желание могло бы показаться странным, но отчего не исполнить его? Потом выслать другого, с каждой стороны, потом третьего, четвертого и т.д., до тех пор, пока осталось бы по одному солдату в каждой армии (предполагая, что армии равносильны и что количество было бы заменяемо качеством). И тогда, ежели уже действительно сложные политические вопросы между разумными представителями разумных созданий должны решаться дракой, пускай бы подрались эти два солдата — один бы осаждал город, другой бы защищал его.

Это рассуждение кажется только парадоксом, но оно верно. Действительно, какая бы была разница между одним русским, воюющим против одного представителя союзников, и между восемьюдесятью тысячами воюющих против восьмидесяти тысяч? Отчего не сто тридцать пять тысяч против ста тридцати пяти тысяч? Отчего не двадцать тысяч против двадцати тысяч? Отчего не двадцать против двадцати? Отчего не один против одного? Никак одно не логичнее другого. Последнее, напротив, гораздо логичнее, потому что человечнее. Одно из двух: или война есть сумасшествие, или ежели люди делают это сумасшествие, то они совсем не разумные создания, как у нас почему-то принято думать.

2

В осажденном городе Севастополе, на бульваре, около павильона играла полковая музыка, и толпы военного народа и женщин празднично двигались по дорожкам. Светлое весеннее солнце взошло с утра над английскими работами, перешло на бастионы, потом на город — на Николаевскую казарму и, одинаково радостно светя для всех, теперь спускалось к далекому синему морю, которое, мерно колыхаясь, светилось серебряным блеском.

Высокий, немного сутуловатый пехотный офицер, натягивая на руку не совсем белую, но опрятную перчатку, вышел из калитки одного из маленьких матросских домиков, настроенных на левой стороне Морской улицы, и, задумчиво глядя себе под ноги, направился в гору к бульвару. Выражение некрасивого с низким лбом лица этого офицера изобличало тупость умственных способностей, но притом рассудительность, честность и склонность к порядочности. Он был дурно сложен — длинноног, неловок и как будто стыдлив в движениях. На нем была незатасканная фуражка, тонкая, немного странного лиловатого цвета шинель, из-под борта которой виднелась золотая цепочка часов; панталоны со штрипками и чистые, блестящие, хотя и с немного стоптанными в разные стороны каблуками, опойковые сапоги,— но не столько по этим вещам, которые не встречаются обыкновенно у пехотного офицера, сколько по общему выражению его персоны, опытный военный глаз сразу отличал в нем не совсем обыкновенного пехотного офицера, а немного повыше. Он должен был быть или немец, ежели бы не изобличали черты лица его чисто русское происхождение, или адъютант, или квартермистр полковой (но тогда бы у него были шпоры), или офицер, на время кампании перешедший из кавалерии, а может, и из гвардии. Он действительно был перешедший из кавалерии и в настоящую минуту, поднимаясь к бульвару, думал о письме, которое сейчас получил от бывшего товарища, теперь отставного, помещика Т. губернии, и жены его, бледной голубоглазой Наташи, своей большой приятельницы. Он вспомнил одно место письма, в котором товарищ пишет:

«Когда приносят нам «Инвалид», то *Пупка* (так отставной улан называл жену свою) бросается опрометью в переднюю, хватает газеты и бежит с ними на *эс* в *беседку*, в *гостиную* (в которой, помнишь, как славно мы проводили с тобой зимние вечера, когда полк стоял у нас в городе), и с таким жаром читает *ваши* геройские подвиги, что ты себе представить не можешь. Она часто про тебя говорит: «Вот Михайлов,— говорит она,— так это *душка человек*, я готова расцеловать его, когда увижу,— он *сражается на бастионах* и непременно получит Георгиевский крест, и про него в газетах напишут», и т.д., и т.д., так что я решительно начинаю ревновать к тебе». В другом месте он пишет: «До нас газеты доходят ужасно поздно, а хотя изустных новостей и много, не всем можно верить. Например, знакомые тебе *барышни с музыкой* рассказывали вчера, что уж будто Наполеон пойман нашими казаками и отослан в Петербург, но ты понимаешь, как много я этому верю. Рассказывал же нам один приезжий из Петербурга (он у

министра, по особым порученьям, премнлый человек, н теперь, как в городе ннкого нет, такая для нас *рисурс,* что ты себе представнть не можешь) — так он говорит наверно, что наши заиялн Евпаторию, так что *французам нет уже сообщения с Балаклавой,* и что у нас при этом убито двестн человек, а у французов до пятнадцатн тысяч. Жена была в таком восторге по этому случаю, что *кутила* целую иочь, и говорит, что ты, наверное, по ее предчувствию, был в этом деле и отлнчился...»

Несмотря на те слова н выражения, которые я нарочно отметнл курсивом, н на весь тон пнсьма, по которым высокомерный читатель, верно, составил себе истинное и невыгодное понятие в отношенни порядочностн о самом штабс-капнтане Михайлове, на стоптанных сапогах, о товарище его, который пишет *рисурс* н имеет такие странные понятия о географии, о бледном друге на *эсе* (может быть, даже и не без основания вообразив себе эту Наташу с грязными ногтями), и вообще о всем этом праздном грязненьком провинциальном презренном для него круге, штабс-капитан Михайлов с невыразнмо грустным наслаждением вспомнил о своем губернском бледном друге н как он снживал, бывало, с ннм по вечерам в беседке и говорнл *о чувстве,* вспомннл о добром товарище-улане, как он сердился и ремнзнлся, когда они, бывало, в кабннете составляли пульку по копейке, как жена смеялась над ннм,— вспомнил о дружбе к себе этих людей (может быть, ему казалось, что было что-то больше со стороны бледного друга): все этн лица с своей обстановкой мелькнули в его воображении в удивительно-сладком, отрадно-розовом цвете, н он, улыбаясь своим воспоминаниям, дотронулся рукою до кармана, в котором лежало это *милое* для него письмо. Эти воспоминания имелн тем большую прелесть для штабс-капнтана Мнхайлова, что тот круг, в котором ему теперь привелось жить в пехотном полку, был гораздо нниже того, в котором он вращался прежде, как кавалернст и дамский кавалер, везде хорошо принятый в городе Т.

Его прежний круг был до такой степени выше теперешнего, что когда в минуты откровенности ему случалось рассказывать пехотным товарищам, как у него были свон дрожкн, как он танцевал на балах у губернатора и играл в карты с штатским генералом, его слушали равнодушно-недоверчнво, как будто не желая только протнворечить и доказывать протнвное — «пускай говорит», мол, н что ежели он не выказывал явного презрення к кутежу товарнщей — водкой, к игре по четверти копейки на старые карты, н вообще к грубости их отношенний, то это надо отнести к особенной кротостн, уживчивости и рассудительностн его характера.

От воспомннаннй штабс-капнтан Михайлов невольно перешел к мечтам н надеждам. «Каково будет удивление н радость Наташи,— думал он, шагая на своих стоптанных сапогах по узенькому переулочку,— когда она вдруг прочтет в «Инвалиде» описание, как я первый влез на пушку и получил Георгия. Капитана же я должен получнть по старому представленню. Потом очень легко я в этом же году могу получить майора по лнннн, потому что миого перебнто, да и еще, верно, много перебьют нашего брата в эту кампанию. А потом опять будет дело, н мие, как известному человеку, поручат полк... подполковннк... Анну на шею... полковник...» — и он был уже генералом, удостанвающим посещения Наташу, вдову товарища, который, по его мечтам, умрет к этому времени, когда звукн бульварной музыки яснее долетелн до его слуха, толпы народа кинулнсь ему в глаза, и он очутился на бульваре прежннм пехотиым штабс-капитаном, ннчего не значащнм, неловкнм н робкнм.

3

Он подошел сначала к павильону, подле которого стоялн музыканты, которым вместо пюпнтров другне солдаты того же полка, раскрывшн, держали ноты и около которых, больше смотря, чем слушая, составнлн кружок пнсаря, юнкера, няньки с детьми н офицеры в *старых* шннелях. Кругом павильона стоялн, сндели н ходнли большею частью моряки, адъютанты и офицеры в белых перчатках и новых шннелях. По большой аллее бульвара ходили всяких сортов офицеры и всяких сортов женщины, нзредка в шляпках, большей частью в платочках (былн н без платочков и без шляпок), но ни одной не было старой, а замечательно, что все молодые. Внизу по теннстым пахучнм аллеям белых акацнй ходилн и сндели уединенные группы.

Никто особенно рад не был, встретив на бульваре штабс-капитана Михайлова, исключая, может быть, его полка капитанов Обжогова и Суслнкова, которые с горячностью пожали ему руку, но первый был в верблюжьих штанах, без перчаток, в обтрепанной шннели и с таким красным, вспотевшнм лицом, а второй кричал так громко и развязно, что совестно было ходнть с нимн, особенно перед офицерами в белых перчатках, из которых с одним — с адъютантом — штабс-капнтан Михайлов кланялся, а с другим — штаб-офицером — мог бы кланяться, потому что два раза встречал его у общего знакомого. Прнтом же, что веселого ему было гулять с этими господами Обжоговым и Сусликовым, когда он и без того по шести раз на день встречал их и пожимал им руки. Не для этого же он пришел *на музыку.*

Ему бы хотелось подойтн к адъютанту, с которым он кланялся, и поговорить с этимн господамн совсем не для того, чтобы капитаны

Обжогов н Сусликов, н поручик Паштецкий, и другие виделн, что он говорит с иими, ио просто для того, что оии приятные люди, притом знают все иовости — порассказали бы...

Но отчего же штабс-капитаи Михайлов боится н не решается подойти к иим? «Что, ежели оии вдруг мие ие поклоиятся,— думает он,— или поклоиятся и будут продолжать говорить между собою, как будто меия нет, или вовсе уйдут от меия, и я там остаиусь одии между *аристократами?»* Слово *аристократы* (в смысле высшего отбориого круга, в каком бы то ии было сословии) получило у иас в Россин, где бы, кажется, вовсе ие должно было быть его, с некоторого времеии большую популяриость и проиикло во все края и во все слои общества, куда проникло только тщеславие (а в какие условия времеии н обстоятельств ие проиикает эта гиусиая страстишка?),— между купцами, между чииовиикамн, писарями, офицерами, в Саратов, в Мамадыши, в Виииицы, везде, где есть людн. А так как в осаждением городе Севастополе людей много, следовательно, и тщеславня много, то есть и *аристократы,* иесмотря на то, что ежемииутио внсит смерть иад головой каждого *аристократа и неаристократа.*

Для капитана Обжогова штабс-капитаи Михайлов *аристократ,* потому что у иего чистая шннель н перчатки, и ои его за это терпеть не может, хотя уважает иемного; для штабс-капитаиа Михайлова адъютаит Калугнн *аристократ,* потому что он адъютант и на «ты» с другнм адъютаитом, и за это он не совсем хорошо расположеи к нему, хотя н боится его. Для адъютаита Калугина граф Нордов *аристократ*, и он его всегда ругает и презирает в душе за то, что он флигель-адъютант. Ужасиое слово *аристократ.* Зачем подпоручик Зобов так прииуждеиио смеется, хотя инчего иет смешиого, проходя мимо своего товарища, который сидит с штаб-офицером? Чтобы доказать этим, что, хотя он н ие *аристократ*, ио всетаки ничуть ие хуже нх. Зачем штаб-офицер говорит таким слабым, леинво-грустиым, не своим голосом? Чтоб доказать своему собеседнику, что ои *аристократ* н очень милостив, разговаривая с подпоручиком. Зачем юикер так размахивает руками и подмигивает, идя за барыией, которую он в первый раз видит н к которой ои ни за что ие решнтся подойти? Чтоб показать всем офицерам, что, иесмотря иа то, что он нм шапку сиимает, ои все-таки *аристократ* и ему очеиь весело. Зачем артиллерийский капитаи так грубо обошелся с добродушным ордииарцем? Чтобы доказать всем, что ои никогда не заискивает и в *аристократах* ие иуждается, и т. д., и т. д., и т. д.

Тщеславие, тщеславие н тщеславие везде — даже иа краю гроба и между людьми, готовыми к смерти из-за высокого убеждеиия. Тщеславие! Должио быть, оно есть характеристическая черта и особенная болезиь иашего века. Отчего между прежними людьми не слышио было об этой страсти, как об оспе или холере? Отчего в иаш век есть только трн рода людей: одних — прииимающих иачало тщеславия как факт иеобходимо существующий, поэтому справедливый, и свободио подчиняющихся ему; других — приимающих его как иесчастиое, ио иепреодолимое условне, и третьих — бессозиательио, рабски действующих под его влияиием? Отчего Гомеры и Шекспиры говорили про любовь, про славу н про страдания, а литература иашего века есть только бескоиечиая повесть «Сиобсов» н «Тщеславия»?

Штабс-капитаи Михайлов два раза в нерешительиости прошел мимо кружка *своих аристократов*, в третий раз сделал усилне над собой н подошел к иим. Кружок этот составляли четыре офицера: адъютаит Калугии, зиакомый Михайлова, адъютаит киязь Гальции, бывшнй даже иемиожко *аристократом* для самого Калугииа, подполковиик Нефердов, одии из так называемых *ста двадцати двух* светских людей, поступивших иа службу нз отставки под влияннем отчасти патриотизма, отчасти честолюбия н, главиое, того, что *все* это делали; старый клубный московский холостяк, здесь присоединившийся к партии недовольных, иичего ие делающнх, ничего не поинмающнх н осуждающих все распоряження начальства, и ротмистр Праскухин, тоже один нз ста двадцати двух героев. К счастню Мнхайлова, Калугнн был в прекрасном расположенни духа (генерал только что поговорнл с ннм весьма доверенно, н князь Гальцин, прнехав нз Петербурга, остановился у него), ои счел не унизительиым подать руку штабс-капнтану Мнхайлову, чего ие решнлся, однако, сделать Праскухии, весьма часто встречавшийся на бастноне с Михайловым, неоднократно пивший его вино и водку н даже должный ему по преферансу двенадцать рублей с полтиной. Не зиая еще хорошеиько киязя Гальцина, ему не хотелось изоблнчить перед ним свое знакомство с простым пехотным штабс-капнтаном; он слегка поклоиился ему.

— Что, капитаи,— сказал Калугии,— когда опять на баксиоичнк? Помиите, как мы с вами встретилнсь иа Шварцовском редуте,— жарко было? а?

— Да, жарко,— сказал Михайлов, с прнскорбием вспомииая о том, какая у него была печальиая фигура, когда ои в ту ночь, согнувшись, пробираясь по траншее иа бастнои, встретил Калугина, который шел таким молодцом, бодро побрякивая саблей.

— Мие, по-иастоящему, прнходится завтра идти, ио у иас болеи,— продолжал Михайлов,— один офицер, так...— Ои хотел рассказать, что черед был не его, ио так как командир восьмой роты был иездоров, а в роте оставался прапорщик только, то он

счел своей обязанностью предложить себя на место поручика. Непшитшетского и потому шел нынче на бастион. Калугин не дослушал его.

— А я чувствую, что на днях что-нибудь будет,— сказал он князю Гальцину.

— А что, не будет ли нынче чего-нибудь?— робко спросил Михайлов, поглядывая то на Калугина, то на Гальцина. Никто не отвечал ему. Князь Гальцин только сморщился как-то, пустил глаза мимо его фуражки и, помолчав немного, сказал:

— Славная девочка эта в красном платочке. Вы ее не знаете, капитан?

— Это около моей квартиры дочь одного матроса,— отвечал штабс-капитан.

— Пойдемте посмотрим ее хорошенько.

И князь Гальцин взял под руку с одной стороны Калугина, с другой штабс-капитана, вперед уверенный, что это не может не доставить последнему большого удовольствия, что действительно было справедливо.

Штабс-капитан был суеверен и считал большим грехом перед делом заниматься женщинами, но в этом случае он притворился большим развратником, чему, видимо, не верили князь Гальцин и Калугин, и что чрезвычайно удивляло девицу в красном платочке, которая не раз замечала, как штабс-капитан краснел, проходя мимо ее окошка. Праскухин шел сзади и все толкал за руку князя Гальцина, делая разные замечания на французском языке; но так как вчетвером нельзя было идти по дорожке, он принужден был идти один и только на втором круге взял под руку подошедшего и заговорившего с ним известно храброго морского офицера Сервягина, желавшего тоже присоединиться к кружку *аристократов*. И известный храбрец с радостью просунул свою мускулистую, честную руку за локоть, всем и самому Сервягину хорошо известному за не слишком хорошего человека, Праскухину. Но когда Праскухин, объясняя князю Гальцину свое знакомство с *этим* моряком, шепнул ему, что это был известный храбрец, князь Гальцин, бывший вчера на четвертом бастионе и видевший от себя в двадцати шагах лопнувшую бомбу, считая себя не меньшим храбрецом, чем этот господин, и предполагая, что весьма много репутаций приобретается задаром, не обратил на Сервягина никакого внимания.

Штабс-капитану Михайлову так приятно было гулять в этом обществе, что он забыл про *милое* письмо из Т., про мрачные мысли, осаждавшие его при предстоящем отправлении на бастион и, главное, про то, что в семь часов ему надо было быть дома. Он пробыл с ними до тех пор, пока они не заговорили исключительно между собой, избегая его взглядов, давая тем знать, что он может идти, и, наконец, совсем ушли от него. Но штабс-капитан все-таки был доволен и, проходя мимо юнкера барона Песта, который был особенно горд и самонадеян со вчерашней ночи, которую он в первый раз провел в блиндаже пятого бастиона, и считал себя вследствие этого героем, он нисколько не огорчился подозрительно-высокомерным выражением, с которым юнкер вытянулся и снял перед ним фуражку.

4

Но едва штабс-капитан перешагнул порог своей квартиры, как совсем другие мысли пошли ему в голову. Он увидал свою маленькую комнатку с земляным неровным полом и кривыми окнами, залепленными бумагой, свою старую кровать с прибитым над ней ковром, на котором изображена была амазонка и висели два тульские пистолета, грязную, с ситцевым одеялом постель юнкера, который жил с ним; увидал своего Никиту, который с взбудораженными сальными волосами, почесываясь, встал с полу; увидал свою старую шинель, личные сапоги и узелок, из которого торчали конец мыльного сыра и горлышко портерной бутылки с водкой, приготовленные для него на бастион, и с чувством, похожим на ужас, он вдруг вспомнил, что ему нынче на целую ночь идти с ротой в ложементы.

«Наверное, мне быть убитым нынче,— думал штабс-капитан,— я чувствую. И главное, что не мне надо было идти, а я сам вызвался. И уж это всегда убьют того, кто напрашивается. И чем болен этот проклятый Непшитшетский? Очень может быть, что и вовсе не болен, а тут из-за него убьют человека, а непременно убьют. Впрочем, ежели не убьют, то, верно, представят. Я видел, как полковому командиру понравилось, когда я сказал, что позвольте мне идти, ежели поручик Непшитшетский болен. Ежели не выйдет майора, то уж Владимира наверно. Ведь я уж тринадцатый раз иду на бастион. Ох, тринадцать! скверное число. Непременно убьют, чувствую, что убьют; но надо же было кому-нибудь идти, нельзя с прапорщиком роте идти, а что-нибудь бы случилось, ведь это честь полка, честь армии от этого зависит. Мой *долг* был идти... да, *долг*. А есть предчувствие». Штабс-капитан забывал, что это предчувствие, в более или менее сильной степени, приходило ему каждый раз, как нужно было идти на бастион, и не знал, что то же, в более или менее сильной степени, предчувствие испытывает всякий, кто идет в дело. Немного успокоив себя этим понятием долга, которое у штабс-капитана, как и вообще у всех людей недалеких, было особенно развито и сильно, он сел к столу и стал писать прощальное письмо отцу, с которым последнее время был не совсем в хороших отношениях по денежным делам. Через десять минут, написав письмо, он встал от стола с мокрыми от слез глазами

и, мысленно читая все молитвы, которые знал (потому что ему совестно было перед своим человеком громко молиться богу), стал одеваться. Еще очень хотелось ему поцеловать образок Митрофания, благословение покойницы матушки и в который он имел особенную веру, но так как он стыдился сделать это при Никите, то выпустил образа из сюртука так, чтобы мог их достать, не расстегиваясь, на улице. Пьяный и грубый слуга лениво подал ему новый сюртук (старый, который обыкновенно надевал штабс-капитан, идя на бастион, не был починен).

— Отчего не починен сюртук? Тебе только бы все спать, этакой! — сердито сказал Михайлов.

— Чего спать? — проворчал Никита.— День-деньской бегаешь, как собака: умаешься небось,— а тут не засни еще.

— Ты опять пьян, я вижу.

— Не на ваши деньги напился, что попрекаете.

— Молчи, скотина! — крикнул штабс-капитан, готовый ударить человека, еще прежде расстроенный, а теперь окончательно выведенный из терпения и огорченный грубостью Никиты, которого он любил, баловал даже и с которым жил уже двенадцать лет.

— Скотина! скотина! — повторял слуга.— И что ругаетесь скотиной, сударь? Ведь теперь время какое? нехорошо ругать.

Михайлов вспомнил, куда он идет, и ему стыдно стало.

— Ведь ты хоть кого выведешь из терпенья, Никита,— сказал он кротким голосом.— Письмо это к батюшке, на столе оставь так и не трогай,— прибавил он, краснея.

— Слушаю-с,— сказал Никита, расчувствовавшийся под влиянием вина, которое он выпил, как говорил, *«на свои деньги»,* и с видимым желанием заплакать, хлопая глазами.

Когда же на крыльце штабс-капитан сказал: «Прощай, Никита!» — то Никита вдруг разразился принужденными рыданиями и бросился целовать руки своего барина. «Прощайте, барин!» — всхлипывая, говорил он.

Старуха матроска, стоявшая на крыльце, как женщина, не могла не присоединиться тоже к этой чувствительной сцене, начала утирать глаза грязным рукавом и приговаривать что-то о том, что уж на что господа, и те какие муки принимают, и что она, бедный человек, вдовой осталась, и рассказала в сотый раз пьяному Никите о своем горе: как ее мужа убили еще в первую *бандировку* и как ее домишко весь разбили (тот, в котором она жила, принадлежал не ей), и т. д., и т. д. По уходе барина Никита закурил трубку, попросил хозяйскую девочку сходить за водкой и весьма скоро перестал плакать, а напротив, побранился с старухой за какую-то ведерку, которую она ему будто бы раздавила.

«А может быть, только ранят,— рассуждал сам с собою штабс-капитан, уже сумерками подходя с ротой к бастиону.— Но куда? как? сюда или сюда? — думал он, мысленно указывая на живот и на грудь.— Вот ежели бы сюда,— он думал о верхней части ноги,— да кругом бы обошла. Ну, а как сюда да осколком — кончено!»

Штабс-капитан, однако, сгибаясь, по траншеям благополучно дошел до ложементов, расставил с саперным офицером, уже в совершенной темноте, людей на работы и сел в ямочку под бруствером. Стрельба была малая; только изредка вспыхивали то у нас, то у *него* молнии, и светящаяся трубка бомбы прокладывала огненную дугу на темном звездном небе. Но все бомбы ложились далеко сзади и справа ложемента, в котором в ямочке сидел штабс-капитан, так что он успокоился отчасти, выпил водки, закусил мыльным сыром, закурил папиросу и, помолившись богу, хотел заснуть немного.

5

Князь Гальцин, подполковник Нефердов, юнкер барон Пест, который встретил их на бульваре, и Праскухин, которого никто не звал, с которым никто не говорил, но который не отставал от них, все с бульвара пошли пить чай к Калугину.

— Ну так ты мне не досказал про Ваську Менделя,— говорил Калугин, сняв шинель, сидя около окна на мягком, покойном кресле и расстегивая воротник чистой крахмальной голландской рубашки,— как же он женился?

— Умора, братец! Je vous dis, il y avait un temps où on ne parlait que de ça à Pétersbourg[1],— сказал, смеясь, князь Гальцин, вскакивая от фортепьян, у которых он сидел, и садясь на окно подле Калугина,— просто умора. Уж я все это знаю подробно.— И он весело, умно и бойко стал рассказывать какую-то любовную историю, которую мы пропустим потому, что она для нас не интересна.

Но замечательно то, что не только князь Гальцин, но и все эти господа, расположившись здесь кто на окне, кто задравши ноги, кто за фортепьянами, казались совсем другими людьми, чем на бульваре: не было этой смешной надутости, высокомерности, которые они выказывали пехотным офицерам; здесь они были между своими в натуре, и особенно Калугин и князь Гальцин, очень милыми, веселыми и добрыми ребятами. Разговор шел о петербургских сослуживцах и знакомых.

— Что Масловский?

— Который?.. лейб-улан или конногвардеец?

---

[1] Я вам говорю, что одно время только об этом и говорили в Петербурге *(фр.)*.

— Я их обоих знаю. Конногвардеец при мне мальчишка был, только что из школы вышел. Что старший — ротмистр?

— О! уж давно.

— Что, все возится с своей цыганкой?

— Нет, бросил,— и т.д. в этом роде.

Потом князь Гальцин сел к фортепьянам и славно спел цыганскую песенку. Праскухин, хотя никто не просил его, стал вторить, и так хорошо, что его уж просили вторить, чему он был очень доволен.

Человек вошел с чаем со сливками и крендельками на серебряном подносе.

— Подай князю,— сказал Калугин.

— А ведь странно подумать,— сказал Гальцин, взяв стакан и отходя к окну,— что мы здесь в осажденном городе: *фортаплясы*, чай со сливками, квартира такая, что я, право, желал бы такую иметь в Петербурге.

— Да уж ежели бы еще этого не было,— сказал всем недовольный старый подполковник,— просто было бы невыносимо это постоянное ожидание чего-то... видеть, как каждый день бьют, бьют — и все нет конца, ежели при этом бы жить в грязи и не было бы удобств.

— А как же наши пехотные офицеры,— сказал Калугин,— которые живут на бастионах с солдатами, в блиндаже и едят солдатский борщ,— как им-то?

— Вот этого я не понимаю и, признаюсь, не могу верить,— сказал Гальцин,— чтобы люди в грязном белье, во вшах и с неумытыми руками могли бы быть храбры. Этак, знаешь, cette belle bravoure de gentilhomme[1], — не может быть.

— Да они и не понимают этой храбрости,— сказал Праскухин.

— Ну что ты говоришь пустяки,— сердито перебил Калугин,— уж я видел их здесь больше тебя и всегда и везде скажу, что наши пехотные офицеры хоть, правда, во вшах и по десять дней белья не переменяют, а это герои, удивительные люди.

В это время в комнату вошел пехотный офицер.

— Я... мне приказано... я могу ли явиться к ген... к его превосходительству от генерала NN.? — спросил он, робея и кланяясь.

Калугин встал, но, не отвечая на поклон офицера, с оскорбительной учтивостью и натянутой официальной улыбкой спросил офицера, не угодно ли *им* подождать, и, не попросив его сесть и не обращая на него больше внимания, повернулся к Гальцину и заговорил по-французски, так что бедный офицер, оставшись посередине комнаты, решительно не знал, что делать с своей персоной и руками без перчаток, которые висели перед ним.

— По крайне нужному делу-с,— сказал офицер после минутного молчания.

— А! так пожалуйте,— сказал Калугин с той же оскорбительной улыбкой, надевая шинель и провожая его к двери.

— Eh bien, messieurs, je crois que cela chauffera cette nuit[1],— сказал Калугин, выходя от генерала.

— А? что? что? вылазка? — стали спрашивать все.

— Уж не знаю — сами увидите,— отвечал Калугин с таинственной улыбкой.

— Да ты мне скажи,— сказал барон Пест,— ведь ежели есть что-нибудь, так я должен идти с Т. полком на первую вылазку.

— Ну, так и иди с богом.

— И мой принципал на бастионе, стало быть, и мне надо идти,— сказал Праскухин, надевая саблю, но никто не отвечал ему: он сам должен был знать, идти ли ему или нет.

— Ничего не будет, уж я чувствую,— сказал барон Пест, с замиранием сердца думая о предстоящем деле, но лихо набок надевая фуражку и громкими твердыми шагами выходя из комнаты вместе с Праскухиным и Нефердовым, которые тоже с тяжелым чувством страха торопились к своим местам. «Прощайте, господа».— «До свидания, господа! еще нынче ночью увидимся»,— прокричал Калугин из окошка, когда Праскухин и Пест, нагнувшись на луки казачьих седел, должно быть, воображая себя казаками, прорысили по дороге.

— Да, немножко! — прокричал юнкер, который не разобрал, что ему говорили, и топот казачьих лошадок скоро стих в темной улице.

— Non, dites moi, est-ce qu'il y aura véritablement quelque chose cette nuit?[2] — сказал Гальцин, лежа с Калугиным на окошке и глядя на бомбы, которые поднимались над бастионами.

— Тебе я могу рассказать, видишь ли, ведь ты был на бастионах? (Гальцин сделал знак согласия, хотя он был только раз на четвертом бастионе.) Так против нашего люнета была траншея,— и Калугин, как человек неспециальный, хотя и считавший свои военные суждения весьма верными, начал, немного запутанно и перевирая фортификационные выражения, рассказывать положение наших и неприятельских работ и план предполагавшегося дела.

— Однако начинают попукивать около ложементов. Ого! Это наша или *его?* вон лопнула,— говорили они, лежа на окне, глядя на огненные линии бомб, скрещивающиеся в воздухе, на молнии выстрелов, на мгновение освещавшие темно-синее небо, и белый дым пороха и прислушиваясь к звукам все усиливающейся и усиливающейся стрельбы.

— Quel charmant coup d'oeil![3] а? — сказал Калугин, обращая внимание своего

[1] этой прекрасной храбрости дворянина *(фр.)*

[1] Ну, господа, нынче ночью, кажется, будет жарко *(фр.)*.

[2] Нет, скажите: правда, нынче ночью что-нибудь будет? *(фр.)*

[3] Какой красивый вид! *(фр.)*

гостя на это действительно красивое зрелище.— Знаешь, звезды не различишь от бомбы иногда.

— Да, я сейчас думал, что это звезда, а она опустилась, вот лопнула, а эта большая звезда — как ее зовут? — точно как бомба.

— Знаешь, я до того привык к этим бомбам, что, я уверен, в России в звездную ночь мне будет казаться, что это всё бомбы: так привыкнешь.

— Однако не пойти ли мне на эту вылазку?— сказал князь Гальцин после минутного молчания, содрогаясь при одной мысли быть *там* во время такой страшной канонады и с наслаждением думая о том, что его ни в каком случае не могут послать туда ночью.

— Полно, братец! и не думай, да и я тебя не пущу,— отвечал Калугин, очень хорошо зная, однако, что Гальцин ни за что не пойдет туда.— Еще успеешь, братец!

— Серьезно? Так думаешь, что не надо ходить? а?

В это время в том направлении, по которому смотрели эти господа, за артиллерийским гулом послышалась ужасная трескотня ружей, и тысячи маленьких огней, беспрестанно вспыхивая, заблестели по всей линии.

— Вот оно когда пошло настоящее!— сказал Калугин.— Этого звука ружейного я слышать не могу хладнокровно, как-то, знаешь, за душу берет. Вон и «ура»,— прибавил он, прислушиваясь к дальнему протяжному гулу сотен голосов: «а-а-а-а-а» — доносившихся до него с бастиона.

— Чье это «ура»? их или наше?

— Не знаю, но это уж рукопашная пошла, потому что стрельба затихла.

В это время под окном, к крыльцу, подскакал ординарец офицер с казаком и слез с лошади.

— Откуда?

— С бастиона. Генерала нужно.

— Пойдемте. Ну что?

— Атаковали ложементы... заняли... французы подвели огромные резервы... атаковали наших... было только два батальона,— говорил, запыхавшись, тот же самый офицер, который приходил вечером, с трудом переводя дух, но совершенно развязно направляясь к двери.

— Что ж, отступили? — спросил Гальцин.

— Нет,— сердито отвечал офицер,— подоспел батальон, отбили, но полковой командир убит, офицеров много, приказано просить подкрепления...

И с этими словами он с Калугиным прошел к генералу, куда уже мы не последуем за ними.

Через пять минут Калугин сидел верхом на казачьей лошади (и опять той особенной quasi-казацкой посадкой, в которой, я замечал, все адъютанты видят почему-то что-то особенно приятное) и рысцой ехал на бастион, с тем чтобы передать туда некоторые приказания и дождаться известий об окончательном результате дела; а князь Гальцин, под влиянием того тяжелого волнения, которое производят обыкновенно близкие признаки дела на зрителя, не принимающего в нем участия, вышел на улицу и без всякой цели стал взад и вперед ходить по ней.

6

Толпы солдат несли на носилках и вели под руки раненых. На улице было совершенно темно; только редко, редко где светились окна в гошпитале или у засидевшихся офицеров. С бастионов доносился тот же грохот орудий и ружейной перепалки, и те же огни вспыхивали на черном небе. Изредка слышался топот лошади проскакавшего ординарца, стон раненого, шаги и говор носильщиков или женский говор испуганных жителей, вышедших на крылечко посмотреть на канонаду.

В числе последних был и знакомый нам Никита, старая матроска, с которой он помирился уже, и десятилетняя дочь ее.

— Господи, мати пресвятыя богородицы! — говорила в себя и вздыхая старуха, глядя на бомбы, которые, как огненные мячики, беспрестанно перелетали с одной стороны на другую.— Страсти-то, страсти какие! И-и-хи-хи. Такого и в первую бандировку не было. Вишь, где лопнула проклятая,— прямо над нашим домом в слободке.

— Нет, это дальше, к тетиньке Аринке в сад всё попадают,— сказала девочка.

— И где-то, где-то барин мой таперича?— сказал Никита нараспев и еще пьяный немного.— Уж как я люблю евтого барина своего, так сам не знаю. Он меня бьеть, а все-таки я его ужасно как люблю. Так люблю, что если, избави бог, да убьют его грешным делом, так, верите ли, тетинька, я после евтого сам не знаю, что могу над собой произвести. Ей-богу! Уж такой барин, что одно слово! Разве с евтими сменить, что тут в карты играють,— это что — тьфу! — одно слово!— заключил Никита, указывая на светящееся окно комнаты барина, в которой во время отсутствия штабс-капитана юнкер Жвадческий позвал к себе на кутеж, по случаю получения креста, гостей: подпоручика Угровича и поручика Непшитшетского, того самого, которому надо было идти на бастион и который был нездоров флюсом.

— Звездочки-то, звездочки так и катятся,— глядя на небо, прервала девочка молчание, последовавшее за словами Никиты,— вон, вон еще скатилась! К чему это так? а, маынька?

— Совсем разобьют домишко наш,— сказала старуха, вздыхая и не отвечая на вопрос девочки.

— А как мы нынче с дяинькой ходили

туда, мамынька,— продолжала певучим голосом разговорившаяся девочка,— так большущая такая ядро в самой комнатке подле шкапа лежит; она сенцы, видно, пробила да в горницу и влетела. Такая большущая, что не поднимешь.

— У кого были мужья да деньги, так повыехали,— говорила старуха,— а тут — ох, горе-то, горе, последний домишко и тот разбили. Вишь как, вишь как палит злодей! Господи, господи!

— А как нам только выходить, как одна бомба прилети-и-ит, как лопни-и-ит, как засыпи-и-ит землею, так даже чуть-чуть нас с дяинькой одним оскретком не задело.

— Крест ей за это надо,— сказал юнкер, который вместе с офицерами вышел в это время на крыльцо посмотреть на перепалку.

— Ты сходи до генерала, старуха,— сказал поручик Непшитшетский, трепля ее по плечу,— право!

— Pójdę na ulicę zobaczyć co tam nowego[1], — прибавил он, спускаясь с лесенки.

— A my tym czasem napiimy się wódki, bo coś dusza w pięty ucieka[2],— сказал, смеясь, веселый юнкер Жвадческий.

7

Все больше и больше раненых на носилках и пешком, поддерживаемых одни другими и громко разговаривающих между собой, встречалось князю Гальцину.

— Как они подскочили, братцы мои,— говорил басом один высокий солдат, несший два ружья за плечами,— как подскочили, как крикнут: алла, алла![3] так-так друг на друга и лезут. Одних бьешь, а другие лезут — ничего не сделаешь. Видимо-невидимо...

Но в этом месте рассказа Гальцин остановил его.

— Ты с бастиона?

— Так точно, ваше благородие.

— Ну, что там было? Расскажи.

— Да что было? Подступила их, ваше благородие, *сила,* лезут на вал, да и шабаш. Одолели совсем, ваше благородие!

— Как одолели? Да ведь вы отбили же?

— Где тут отбить, когда *его* вся *сила* подошла: перебил всех наших, а сикурсу не подают. (Солдат ошибался, потому что траншея была за нами, но это — странность, которую всякий может заметить: солдат, раненный в деле, всегда считает его проиграиным и ужасно кровопролитным.)

— Как же мне говорили, что отбили,— с досадой сказал Гальцин.

В это время поручик Непшитшетский в темноте, по белой фуражке, узнав князя Гальцина и желая воспользоваться случаем, чтобы поговорить с таким важным человеком, подошел к нему.

— Не изволите ли знать, что это такое было? — спросил он учтиво, дотрогиваясь рукою до козырька.

— Я сам расспрашиваю,— сказал князь Гальцин и снова обратился к солдату с двумя ружьями,— может быть, после тебя отбили? Ты давно оттуда?

— Сейчас, ваше благородие! — отвечал солдат.— Вряд ли, должно, за ним траншея осталась,— совсем одолел.

— Ну, как вам не стыдно — отдали траншею. Это ужасно!— сказал Гальцин, огорченный этим равнодушием.— Как вам не стыдно! — повторил он, отворачиваясь от солдата.

— О! это ужасный народ! Вы их не изволите знать,— подхватил поручик Непшитшетский,— я вам скажу, от этих людей ни гордости, ни патриотизма, ни чувства лучше не спрашивайте. Вы вот посмотрите, эти толпы идут, ведь тут десятой доли нет раненых, а то всё *асистенты,* только бы уйти с дела. Подлый народ! Срам так поступать, ребята, срам! Отдать *нашу* траншею! — добавил он, обращаясь к солдатам.

— Что ж, когда *сила!*— проворчал солдат.

— И! ваши благородия,— заговорил в это время солдат с носилок, поравнявшихся с ними,— как же не отдать, когда перебил всех почитай? Кабы наша сила была, ни в жисть бы не отдали. А то что сделаешь? Я одного заколол, а тут меня как ударит... О-ох, легче, братцы, ровнее, братцы, ровней иди... о-о-о! — застонал раненый.

— А в самом деле, кажется, много лишнего народа идет,— сказал Гальцин, останавливая опять того же высокого солдата с двумя ружьями.— Ты зачем идешь? Эй ты, остановись!

Солдат остановился и левой рукой снял шапку.

— Куда ты идешь и зачем? — закричал он на него строго.— Него...

Но в это время, совсем вплоть подойдя к солдату, он заметил, что правая рука его была за обшлагом и в крови выше локтя.

— Ранен, ваше благородие!

— Чем ранен?

— Сюда-то, должно, пулей,— сказал солдат, указывая на руку,— а уж здесь не могу знать, чем голову-то прошибло,— и, нагнув ее, показал окровавленные и слипшиеся волоса на затылке.

— А ружье другое чье?

— Стуцер французской, ваше благородие, отнял; да я бы не пошел, кабы не евтого солдатика проводить, а то упадет неравно,—

[1] Сходить на улицу, узнать, что там новенького *(пол.).— Перев. Л. Н. Толстого.*

[2] А мы тем часом киаксик сделаем, а то что-то уж очень страшно *(пол.).— Перев. Л. Н. Толстого.*

[3] Наши солдаты, воюя с турками, так привыкли к этому крику врагов, что теперь всегда рассказывают, что французы тоже кричат «алла!». *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

прибавил он, указывая на солдата, который шел немного впереди, опираясь на ружье и с трудом таща и передвигая левую ногу.

— А ты *где* идешь, мерзавец! — крикнул поручик Непшитшетский на другого солдата, который попался ему навстречу, желая своим рвением прислужиться важному князю. Солдат тоже был ранен.

Князю Гальцину вдруг ужасно стыдно стало за поручика Непшитшетского и еще больше за себя. Он почувствовал, что краснеет — что редко с ним случалось,— отвернулся от поручика и, уже больше не расспрашивая раненых и не наблюдая за ними, пошел на перевязочный пункт.

С трудом пробившись на крыльце между пешком шедшими ранеными и носильщиками, входившими с ранеными и выходившими с мертвыми, Гальцин вошел в первую комнату, взглянул и тотчас же невольно повернулся назад и выбежал на улицу. Это было слишком ужасно!

8

Большая, высокая темная зала — освещенная только четырьмя или пятью свечами, с которыми доктора подходили осматривать раненых,— была буквально полна. Носильщики беспрестанно вносили раненых, складывали их один подле другого на пол, на котором уже было так тесно, что несчастные толкались и мокли в крови друг друга, и шли за новыми. Лужи крови, видные на местах незанятых, горячечное дыхание нескольких сотен человек и испарения рабочих с носилками производили какой-то особенный, тяжелый, густой, вонючий смрад, в котором пасмурно горели четыре свечи на различных концах залы. Говор разнообразных стонов, вздохов, хрипений, прерываемый иногда пронзительным криком, носился по всей комнате. *Сестры,* с спокойными лицами и с выражением не того пустого женского болезненно-слезного сострадания, а деятельного практического участия, то там, то сям, шагая через раненых, с лекарством, с водой, бинтами, корпией, мелькали между окровавленными шинелями и рубахами. Доктора, с мрачными лицами и засученными рукавами, стоя на коленях перед ранеными, около которых фельдшера держали свечи, всовывали пальцы в пульные раны, ощупывая их, и переворачивали отбитые висевшие члены, несмотря на ужасные стоны и мольбы страдальцев. Один из докторов сидел около двери за столиком и в ту минуту, как в комнату вошел Гальцин, записывал уже пятьсот тридцать второго.

— Иван Богаев, рядовой третьей роты С. полка, fractura femoris complicata[1],— кричал другой из конца залы, ощупывая разбитую ногу.— Переверни-ка его.

[1] осложненное раздробление бедра *(лат.)*.

— О-ой, отцы мои, вы наши отцы! — кричал солдат, умоляя, чтобы его не трогали.

— Perforatio capitis[1].

— Семен Нефердов подполковник Н. пехотного полка. Вы немножко потерпите, полковник, а то этак нельзя, я брошу,— говорил третий, ковыряя каким-то крючком в голове несчастного подполковника.

— Ай, не надо! Ой, ради бога, скорее, скорее, ради... а-а-а-а!

— Perforatio pectoris...[2] Севастьян Середа, рядовой... какого полка?.. впрочем, не пишите: moritur [3]. Несите его,— сказал доктор, отходя от солдата, который, закатив глаза, хрипел уже...

Человек сорок солдат-носильщиков, дожидаясь ноши перевязанных в госпиталь и мертвых в часовню, стояли у дверей и молча, изредка тяжело вздыхая, смотрели на эту картину...

. . . .

9

По дороге к бастиону Калугин встретил много раненых; но, по опыту зная, как в деле дурно действует на дух человека это зрелище, он не только не останавливался расспрашивать их, но, напротив, старался не обращать на них никакого внимания. Под горой ему попался ординарец, который, марш-марш, скакал с бастиона.

— Зобкин! Зобкин! Постойте на минутку.

— Ну, что?

— Вы откуда?

— Из ложементов.

— Ну как там? жарко?

— Ад, ужасно!

И ординарец поскакал дальше.

Действительно, хотя ружейной стрельбы было мало, канонада завязалась с новым жаром и ожесточением.

«Ах, скверно!»— подумал Калугин, испытывая какое-то неприятное чувство, и ему тоже пришло предчувствие, то есть мысль очень обыкновенная — мысль о смерти. Но Калугин был не штабс-капитан Михайлов, он был самолюбив и одарен деревянными нервами, то, что называют храбр, одним словом. Он не поддался первому чувству и стал ободрять себя. Вспомнил про одного адъютанта, кажется Наполеона, который, передав приказания, марш-марш, с окровавленной головой подскакал к Наполеону.

— Vous êtes blessé?[4] — сказал ему Наполеон.

— Je vous demande pardon, sire, je suis tué[5],— и адъютант упал с лошади и умер на месте.

[1] Прободение черепа *(лат.)*.
[2] Прободение грудной полости *(лат.)*.
[3] умирает *(лат.)*.
[4] Вы ранены? *(фр.)*
[5] Извините, государь, я убит *(фр.)*.

Ему показалось, это очень хорошо, и он вообразил себя даже немножко этим адъютантом, потом ударил лошадь плетью, принял еще более лихую *казацкую посадку,* огляну́лся на казака, который, стоя на стременах, рысил за ним, и совершенным молодцом приехал к тому месту, где надо было слезать с лошади. Здесь он нашел четырех солдат, которые, усевшись на камушки, курили трубки.

— Что вы здесь делаете?— крикнул он на них.

— Раненого отводили, ваше благородие, да отдохнуть присели,— отвечал один из них, пряча за спину трубку и снимая шапку.

— То-то отдохнуть! марш к своим местам, вот я полковому командиру скажу.

И он вместе с ним пошел по траншее в гору, на каждом шагу встречая раненых. Поднявшись в гору, он повернул в траншею налево и, пройдя по ней несколько шагов, очутился совершенно один. Близехонько от него прожужжал осколок и ударился в траншею. Другая бомба поднялась перед ним и, казалось, летела прямо на него. Ему вдруг сделалось страшно: он рысью пробежал шагов пять и упал на землю. Когда же бомба лопнула, и далеко от него, ему стало ужасно досадно на себя, и он встал, оглядываясь, не видал ли кто-нибудь его падения, но никого не было.

Уже раз проникнув в душу, страх не скоро уступает место другому чувству; он, который всегда хвастался, что никогда не нагибается, ускоренными шагами и чуть-чуть не ползком пошел по траншее. «Ах, нехорошо! —подумал он, спотыкнувшись,— непременно убьют», — и, чувствуя, как трудно дышалось ему и как пот выступал по всему телу, он удивлялся самому себе, но уже не пытался преодолеть своего чувства...

Вдруг чьи-то шаги послышались впереди его. Он быстро разогнулся, поднял голову и, бодро побрякивая саблей, пошел уже не такими скорыми шагами, как прежде. Он не узнавал себя. Когда он сошелся с встретившимся ему саперным офицером и матросом и первый крикнул ему: «Ложитесь!», указывая на светлую точку бомбы, которая, светлее и светлее, быстрее и быстрее приближаясь, шлепнулась около траншеи, он только немного и невольно, под влиянием испуганного крика, нагнул голову и пошел дальше.

— Вишь, какой бравый! — сказал матрос, который преспокойно смотрел на падавшую бомбу и опытным глазом сразу расчел, что осколки ее не могут задеть в траншее,— и ложиться не хочет.

Уже несколько шагов только оставалось Калугину перейти через площадку до блиндажа командира бастиона, как опять на него нашло затмение и этот глупый страх; сердце забилось сильнее, кровь хлынула в голову, и ему нужно было усилие над собою, чтобы пробежать до блиндажа.

— Что вы так запыхались? — сказал генерал, когда он ему передал приказания.

— Шел скоро очень, ваше превосходительство!

— Не хотите ли вина стакан?

Калугин выпил стакан вина и закурил папиросу. Дело уже прекратилось, только сильная канонада продолжалась с обеих сторон. В блиндаже сидел генерал N., командир бастиона и еще человек шесть офицеров, в числе которых был и Праскухин, и говорили про разные подробности дела. Сидя в этой уютной комнатке, обитой голубыми обоями, с диваном, кроватью, столом, на котором лежат бумаги, стенными часами и образом, перед которым горит лампадка, глядя на эти признаки жилья и на толстые аршинные балки, составлявшие потолок, и слушая выстрелы, казавшиеся слабыми в блиндаже, Калугин решительно понять не мог, как он два раза позволил себя одолеть такой непростительной слабости; он сердился на себя, и ему хотелось опасности, чтобы снова испытать себя.

— А вот я рад, что и вы здесь, капитан,— сказал он морскому офицеру в штаб-офицерской шинели, с большими усами и Георгием, который вошел в это время в блиндаж и просил генерала дать ему рабочих, чтобы исправить на его батарее две амбразуры, которые были засыпаны.— Мне генерал приказал узнать,— продолжал Калугин, когда командир батареи перестал говорить с генералом,— могут ли ваши орудия стрелять по траншее картечью?

— Одно только орудие может,— угрюмо отвечал капитан.

— Все-таки пойдемте посмотрим.

Капитан нахмурился и сердито крякнул.

— Уж я всю ночь там простоял, пришел хоть отдохнуть немного,— сказал он,— нельзя ли вам одним сходить? там мой помощник, лейтенант Карц, вам всё покажет.

Капитан уже шесть месяцев командовал этой одной из самых опасных батарей,— и даже, когда не было блиндажей, не выходя, с начала осады жил на бастионе и между *моряками* имел репутацию храбрости. Поэтому-то отказ его особенно поразил и удивил Калугина.

«Вот репутации!» — подумал он.

— Ну, так я пойду один, если вы позволите,— сказал он несколько насмешливым тоном капитану, который, однако, не обратил на его слова никакого внимания.

Но Калугин не сообразил того, что он в разные времена всего-навсего провел часов пятьдесят на бастионах, тогда как капитан жил там шесть месяцев. Калугина еще возбуждали тщеславие — желание блеснуть, надежда на награды, на репутацию и прелесть риска; капитан же уже прошел через все это — сначала тщеславился, храбрился, рисковал, надеялся на награды и репутацию и даже приобрел их, но теперь уже все эти побудительные средства потеряли для него силу, и он смотрел на дело иначе: исполнял в точности свою обязанность, но, хорошо

понимая, как мало ему оставалось случайностей жизни, после шестимесячного пребывания на бастионе уже не рисковал этими случайностями без строгой необходимости, так что молодой лейтенант, с неделю тому назад поступивший на батарею и показывавший теперь ее Калугину, с которым они бесполезно друг перед другом высовывались в амбразуры и вылезали на банкеты, казался в десять раз храбрее капитана.

Осмотрев батарею и направляясь назад к блиндажу, Калугин наткнулся в темноте на генерала, который с своими ординарцами шел на вышку.

— Ротмистр Праскухин! — сказал генерал.— Сходите, пожалуйста, в правый ложемент и скажите второму батальону М. полка, который там на работе, чтоб он оставил работу, не шумя вышел оттуда и присоединился бы к своему полку, который стоит под горой в резерве. Понимаете? Сами отведите к полку.

— Слушаю-с.

И Праскухин рысью побежал к ложементу. Стрельба становилась реже.

10

— Это второй батальон М. полка? — спросил Праскухин, прибежав к месту и наткнувшись на солдат, которые в мешках носили землю.

— Так точно-с.

— Где командир?

Михайлов, полагая, что спрашивают ротного командира, вылез из своей ямочки и, принимая Праскухина за начальника, держа руку у козырька, подошел к нему.

— Генерал приказал... вам... извольте идти... поскорей... и главное потише... назад, не назад, а к резерву,— говорил Праскухин, искоса поглядывая по направлению огней неприятеля.

Узнав Праскухина, опустив руку и разобрав, в чем дело, Михайлов передал приказанье, и батальон весело зашевелился, забрал ружья, надел шинели и двинулся.

Кто не испытывал, тот не может вообразить себе того наслаждения, которое ощущает человек, уходя после трех часов бомбардированья из такого опасного места, как ложементы. Михайлов, в эти три часа уже несколько раз считавший свой конец неизбежным и несколько раз успевший перецеловать все образа, которые были на нем, под конец успокоился немного, под влиянием того убеждения, что его непременно убьют и что он уже не принадлежит этому миру. Несмотря ни на что, однако, ему большого труда стоило удержать свои ноги, чтобы они не бежали, когда он перед ротой, рядом с Праскухиным, вышел из ложементов.

— До свиданья,— сказал ему майор, командир другого батальона, который оставался в ложементах и с которым они вместе закусывали мыльным сыром, сидя в ямочке около бруствера,— счастливого пути!

— И вам желаю счастливо отстоять; теперь, кажется, затихло.

Но только что он успел сказать это, как неприятель, должно быть, заметив движение в ложементах, стал палить чаще и чаще. Наши стали отвечать ему, и опять поднялась сильная канонада. Звезды высоко, но не ярко блестели на небе; ночь была темна — хоть глаз выколи,— только огни выстрелов и разрыва бомб мгновенно освещали предметы. Солдаты шли скоро и молча и невольно перегоняя друг друга; только слышны были за беспрестанными раскатами выстрелов мерный звук их шагов по сухой дороге, звук столкнувшихся штыков или вздох и молитва какого-нибудь робкого солдатика: «Господи, господи! что это такое!» Иногда слышался стон раненого и крики: «Носилки!» (В роте, которой командовал Михайлов, от одного артиллерийского огня выбыло в ночь двадцать шесть человек.) Вспыхивала молния на мрачном далеком горизонте, часовой с бастиона кричал: «Пуш-ка!», и ядро, жужжа над ротой, взрывало землю и взбрасывало камни.

«Черт возьми! как они тихо идут,— думал Праскухин, беспрестанно оглядываясь назад, шагая подле Михайлова,— право, лучше побегу вперед, ведь я передал приказанье... Впрочем, нет, ведь эта скотина может рассказывать потом, что я трус, почти так же, как я вчера про него рассказывал. Что будет, то будет — пойду рядом».

«И зачем он идет со мной,— думал с своей стороны Михайлов,— сколько я ни замечал, он всегда приносит несчастье; вот она еще летит прямо сюда, кажется».

Пройдя несколько сот шагов, они столкнулись с Калугиным, который, бодро побрякивая саблей, шел к ложементам, с тем чтобы, по приказанию генерала, узнать, как подвинулись там работы. Но, встретив Михайлова, он подумал, что, чем ему самому под этим страшным огнем идти туда, чего и не было ему приказано, он может расспросить все подробно у офицера, который был там. И действительно, Михайлов подробно рассказал про работы, хотя во время рассказа и немало позабавил Калугина, который, казалось, никакого внимания не обращал на выстрелы,— тем, что при каждом снаряде, иногда падавшем и весьма далеко, приседал, нагибал голову и все уверял, что «это прямо сюда».

— Смотрите, капитан, это прямо сюда,— сказал, подшучивая, Калугин и толкая Праскухина. Пройдя еще немного с ними, он повернул в траншею, ведущую к блиндажу. «Нельзя сказать, чтобы он был очень храбр, этот капитан»,— подумал он, входя в двери блиндажа.

— Ну, что новенького? — спросил офицер, который, ужиная, один сидел в комнате.

— Да ничего, кажется, что уж больше дела не будет.

— Как не будет? напротив, генерал сейчас опять пошел на вышку. Еще полк пришел. Да вот она, слышите? опять пошла ружейная. Вы не ходите. Зачем вам? — прибавил офицер, заметив движение, которое сделал Калугин.

«А мне, по-настоящему, непременно надо там быть,— подумал Калугин,— но уж я и так нынче много подвергал себя. Надеюсь, что я нужен не для одной chair à canon[1].

— И в самом деле, я их лучше тут подожду,— сказал он.

Действительно, минут через двадцать генерал вернулся вместе с офицерами, которые были при нем; в числе их был и юнкер барон Пест, но Праскухина не было. Ложементы были отбиты и заняты нами.

Получив подробные сведения о деле, Калугин вместе с Пестом вышел из блиндажа.

11

— У тебя шинель в крови: неужели ты дрался в рукопашном? — спросил его Калугин.

— Ах, братец, ужасно! можешь себе представить...— И Пест стал рассказывать, как он вел всю роту, как ротный командир был убит, как он заколол француза и что ежели бы не он, то ничего бы не было и т. д.

Основания этого рассказа, что ротный командир был убит и что Пест убил француза, были справедливы; но, передавая подробности, юнкер выдумывал и хвастал.

Хвастал невольно, потому что, во время всего дела находясь в каком-то тумане и забытьи до такой степени, что все, что случилось, казалось ему случившимся где-то, когда-то и с кем-то, очень естественно, он старался воспроизвести эти подробности с выгодной для себя стороны. Но вот как это было действительно.

Батальон, к которому прикомандирован был юнкер для вылазки, часа два под огнем стоял около какой-то стенки; потом батальонный командир впереди сказал что-то, ротные командиры зашевелились, батальон тронулся, вышел из-за бруствера и, пройдя шагов сто, остановился, построившись в ротные колонны. Песту сказали, чтобы он стал на правом фланге второй роты.

Решительно не отдавая себе отчета, где и зачем он был, юнкер стал на место и с невольно сдержанным дыханием и холодной дрожью, пробегавшей по спине, бессознательно смотрел вперед в темную даль, ожидая чего-то страшного. Ему, впрочем, не столько страшно было, потому что стрельбы не было, сколько дико, странно было подумать, что он находился вне крепости, в поле. Опять батальонный командир впереди сказал что-то. Опять шепотом заговорили офицеры, передавая приказания, и черная стена первой роты вдруг опустилась. Приказано было лечь. Вторая рота легла также, и Пест, ложась, наколол руку на какую-то колючку. Не лег только один командир второй роты, его невысокая фигура, с вынутой шпагой, которой он размахивал, не переставая говорить, двигалась перед ротой.

— Ребята! смотри, молодцами у меня! С ружей не палить, а штыками их, каналий. Когда я крикну «ура!» — за мной и не отставать... Дружней, главное дело... покажем себя, не ударим лицом в грязь, а, ребята? За царя, за батюшку! — говорил он, пересыпая свои слова ругательствами и ужасно размахивая руками.

— Как фамилия нашего ротного командира? — спросил Пест у юнкера, который лежал рядом с ним.— Какой он храбрый!

— Да, как в дело, всегда — мертвецки,— отвечал юнкер,— Лисинковский его фамилия.

В это время перед самой ротой мгновенно вспыхнуло пламя, раздался ужаснейший треск, оглушил всю роту, и высоко в воздухе зашуршели камни и осколки (по крайней мере, секунд через пятьдесят один камень упал сверху и отбил ногу солдату). Это была бомба с *элевационного станка,* и то, что она попала в роту, доказывало, что французы заметили колонну.

— Бомбами пускать! сукин сын... Дай только добраться, тогда попробуешь штыка трехгранного русского, проклятый! — заговорил ротный командир так громко, что батальонный командир должен был приказать ему молчать и не шуметь так много.

Вслед за этим первая рота встала, за ней вторая — приказано было взять ружья наперевес, и батальон пошел вперед. Пест был в таком страхе, что он решительно не помнил, долго ли? куда? и кто, на что? Он шел как пьяный. Но вдруг со всех сторон заблестело мильон огней, засвистело, затрещало что-то; он закричал и побежал куда-то, потому что все бежали и все кричали. Потом он спотыкнулся и упал на что-то — это был ротный командир (который был ранен впереди роты и, принимая юнкера за француза, схватил его за ногу). Потом, когда он вырвал ногу и приподнялся, на него в темноте спиной наскочил какой-то человек и чуть опять не сбил с ног, другой человек кричал: *«Коли его! что смотришь?»* Кто-то взял ружье и воткнул штык во что-то мягкое. «Ah! Dieu!»[1] — закричал кто-то страшным, пронзительным голосом, и тут только Пест понял, что он заколол француза.

Холодный пот выступил у него по всему телу, он затрясся, как в лихорадке, и бросил ружье. Но это продолжалось только одно мгновение; ему тотчас же пришло в голову, что он герой. Он схватил ружье и вместе с тол-

[1] пушечное мясо *(фр.).*

[1] О господи! *(фр.)*

пой, крича «ура», побежал прочь от убитого француза, с которого тут же солдат стал снимать сапоги. Пробежав шагов двадцать, он прибежал в траншею. Там были наши и батальонный командир.

— А я заколол одного! — сказал он батальонному командиру.

— Молодцом, барон. . . . .

12

— А знаешь, Праскухин убит,— сказал Пест, провожая Калугина, который шел к дому.

— Не может быть!

— Как же, я сам его видел.

— Прощай, однако, мне надо скорее.

«Я очень доволен, — думал Калугин, возвращаясь к дому, — в первый раз на мое дежурство счастие. Отличное дело, я — жив и цел, представления будут отличные, и уж непременно золотая сабля. Да, впрочем, я и стою ее».

Доложив генералу все, что нужно было, он пришел в свою комнату, в которой, уже давно вернувшись и дожидаясь его, сидел князь Гальцин, читая «Splendeur et misères des courtisanes»[1], которую нашел на столе Калугина.

С удивительным наслаждением Калугин почувствовал себя дома, вне опасности, и, надев ночную рубашку, лежа в постели, уж рассказал Гальцину подробности дела, передавая их весьма естественно,— с той точки зрения, с которой подробности эти доказывали, что он, Калугин, весьма дельный и храбрый офицер, на что, мне кажется, излишне бы было намекать, потому что это все знали и не имели никакого права и повода сомневаться, исключая, может быть, покойника ротмистра Праскухина, который, несмотря на то, что, бывало, считал за счастье ходить под руку с Калугиным, вчера только по секрету рассказывал одному приятелю, что Калугин очень хороший человек, но, между нами будь сказано, ужасно не любит ходить на бастионы.

Только что Праскухин, идя рядом с Михайловым, разошелся с Калугиным и, подходя к менее опасному месту, начинал уже оживать немного, как он увидал молнию, ярко блеснувшую сзади себя, услыхал крик часового: «Маркела!» — и слова одного из солдат, шедших сзади: «Как раз на батальон прилетит!»

Михайлов оглянулся: светлая точка бомбы, казалось, остановилась на своем зените — в том положении, когда решительно нельзя определить ее направления. Но это продолжалось только мгновение: бомба быстрее и быстрее, ближе и ближе, так что уже видны были искры трубки и слышно роковое посвистывание, опускалась прямо в середину батальона.

— Ложись! — крикнул чей-то испуганный голос.

Михайлов упал на живот. Праскухин невольно согнулся до самой земли и зажмурился; он слышал только, как бомба где-то очень близко шлепнулась на твердую землю. Прошла секунда, показавшаяся часом,— бомбу не рвало. Праскухин испугался, не напрасно ли он струсил,— может быть, бомба упала далеко и ему только казалось, что трубка шипит тут же. Он открыл глаза и с самолюбивым удовольствием увидал, что Михайлов, которому он должен двенадцать рублей с полтиной, гораздо ниже и около самых ног его, недвижимо, прижавшись к нему, лежал на брюхе. Но тут же глаза его на мгновение встретились с светящейся трубкой, в аршине от него, крутившейся бомбы.

Ужас — холодный, исключающий все другие мысли и чувства ужас — объял все существо его; он закрыл лицо руками и упал на колена.

Прошла еще секунда — секунда, в которую целый мир чувств, мыслей, надежд, воспоминаний промелькнул в его воображении.

«Кого убьет — меня или Михайлова? Или обоих вместе? А коли меня, то куда? в голову, так все кончено; а ежели в ногу, то отрежут, и я попрошу, чтобы непременно с хлороформом,— и я могу еще жив остаться. А может быть, одного Михайлова убьет, тогда я буду рассказывать, как мы рядом шли, и его убило и меня кровью забрызгало. Нет, ко мне ближе — меня».

Тут он вспомнил про двенадцать рублей, которые был должен Михайлову, вспомнил еще про один долг в Петербурге, который давно надо было заплатить; цыганский мотив, который он пел вечером, пришел ему в голову; женщина, которую он любил, явилась ему в воображении, в чепце с лиловыми лентами; человек, которым он был оскорблен пять лет тому назад и которому он не отплатил за оскорбленье, вспомнился ему, хотя вместе, нераздельно с этими и тысячами других воспоминаний, чувство настоящего — ожидания смерти и ужаса — ни на мгновение не покидало его. «Впрочем, может быть, не лопнет»,— подумал он и с отчаянной решимостью хотел открыть глаза. Но в это мгновение, еще сквозь закрытые веки, глаза его поразил красный огонь, с страшным треском что-то толкнуло его в средину груди; он побежал куда-то, спотыкнулся на подвернувшуюся под ноги саблю и упал на бок.

«Слава богу! Я только контужен»,— было его первою мыслью, и он хотел руками дотронуться до груди,— но руки его казались привязанными, и какие-то тиски сдавливали

[1] Одна из тех милых книг, которых развелось такая пропасть в последнее время и которые пользуются особенной популярностью почему-то между нашею молодежью. (*Примеч. Л. Н. Толстого.*)

голову. В глазах его мелькали солдаты — и он бессознательно считал их: «Один, два, три солдата, а вот в подвернутой шинели офицер»,— думал он; потом молния блеснула в его глазах, и он думал, из чего это выстрелили: из мортиры или из пушки? Должно быть, из пушки; а вот еще выстрелили, а вот еще солдаты — пять, шесть, семь солдат, идут всё мимо. Ему вдруг стало страшно, что они раздавят его; он хотел крикнуть, что он контужен, но рот был так сух, что язык прилип к нёбу, и ужасная жажда мучила его. Он чувствовал, как мокро было у него около груди,— это ощущение мокроты напоминало ему о воде, и ему хотелось бы даже выпить то, чем это было мокро. «Верно, я в кровь разбился, как упал»,— подумал он, и, все более и более начиная поддаваться страху, что солдаты, которые продолжали мелькать мимо, раздавят его, он собрал все силы и хотел закричать: «Возьмите меня»,— но вместо этого застонал так ужасно, что ему страшно стало, слушая себя. Потом какие-то красные огни запрыгали у него в глазах,— и ему показалось, что солдаты кладут на него камни; огни всё прыгали реже и реже, камни, которые на него накладывали, давили его больше и больше. Он сделал усилие, чтобы раздвинуть камни, вытянулся и уже больше не видел, не слышал, не думал и не чувствовал. Он был убит на месте осколком в середину груди.

13

Михайлов, увидав бомбу, упал на землю и так же зажмурился, так же два раза открывал и закрывал глаза и так же, как и Праскухин, необъятно много передумал и перечувствовал в эти две секунды, во время которых бомба лежала неразорванною. Он мысленно молился богу и все твердил: «Да будет воля твоя! И зачем я пошел в военную службу,— вместе с тем думал он,— и еще перешел в пехоту, чтобы участвовать в кампании; не лучше ли было мне оставаться в уланском полку в городе Т., проводить время с моим другом Наташей... а теперь вот что!» И он начал считать: раз, два, три, четыре, загадывая, что ежели разорвет в чет, то он будет жив, а в нечет — то будет убит. «Все кончено! — убит!» — подумал он, когда бомбу разорвало (он не помнил, в чет или нечет), и он почувствовал удар и жестокую боль в голове. «Господи, прости мои согрешения!» — проговорил он, всплеснув руками, приподнялся и без чувств упал навзничь.

Первое ощущение, когда он очнулся, была кровь, которая текла по носу, и боль в голове, становившаяся гораздо слабее. «Это душа отходит,— подумал он,— что будет *там?* Господи! Приими дух мой с миром. Только одно странно,— рассуждал он,— что, умирая, я так ясно слышу шаги солдат и звуки выстрелов».

— Давай носилки — эй! ротного убило! — крикнул над его головой голос, который он невольно узнал за голос барабанщика Игнатьева.

Кто-то взял его за плечи. Он попробовал открыть глаза и увидал над головой темно-синее небо, группы звезд и две бомбы, которые летели над ним, догоняя одна другую, увидал Игнатьева, солдат с носилками и ружьями, вал траншеи и вдруг поверил, что он еще не на том свете.

Он был камнем легко ранен в голову. Самое первое впечатление его было как будто сожаление: он так было хорошо и спокойно приготовился к переходу *туда,* что на него неприятно подействовало возвращение к действительности, с бомбами, траншеями, солдатами и кровью; второе впечатление его была бессознательная радость, что он жив, и третье — страх и желание уйти скорей с бастиона. Барабанщик платком завязал голову своему командиру и, взяв его под руку, повел к перевязочному пункту.

«Куда и зачем я иду, однако? — подумал штабс-капитан, когда он опомнился немного.— Мой долг оставаться с ротой, а не уходить вперед, тем более что и рота скоро выйдет из-под огня,— шепнул ему какой-то голос,— а с раной остаться в деле — непременно награда».

— Не нужно, братец,— сказал он, вырывая руку от услужливого барабанщика, которому, главное, самому хотелось поскорее выбраться отсюда,— я не пойду на перевязочный пункт, а останусь с ротой.

И он повернул назад.

— Вам бы лучше перевязаться, ваше благородие, как следует,— сказал робкий Игнатьев,— ведь это сгоряча она только оказывает, что ничего, а то хуже бы не сделать, ведь тут вон какая жарня идет... право, ваше благородие.

Михайлов остановился на минуту в нерешительности и, кажется, последовал бы совету Игнатьева, ежели бы не вспомнилась ему сцена, которую он на днях видел на перевязочном пункте: офицер с маленькой царапиной на руке пришел перевязываться, и доктора улыбались, глядя на него, и даже один — с бакенбардами — сказал ему, что он никак не умрет от этой раны и что вилкой можно больней уколоться.

«Может быть, так же недоверчиво улыбнутся и моей ране, да еще скажут что-нибудь»,— подумал штабс-капитан и решительно, несмотря на доводы барабанщика, пошел назад к роте.

— А где ординарец Праскухин, который шел со мной? — спросил он прапорщика, который вел роту, когда они встретились.

— Не знаю, убит, кажется,— неохотно отвечал прапорщик, который, между прочим, был очень недоволен, что штабс-капитан вернулся и тем лишил его удовольствия сказать, что он один офицер остался в роте.

— Убнт или раиеи? Как же вы не знаете, ведь он с нами шел. И отчего вы его ие взяли?

— Где тут было брать, когда жариря этакая!

— Ах, как же вы это, Мнхал Иваиович,— сказал Михайлов серднто,— как же бросить, ежели он жнв; да н убнт, так все-такн тело иадо было взять,— как хотнте, ведь он ордниарец генерала и еще жнв, может.

— Где жив, когда я вам говорю, я сам подходнл и видел,— сказал прапорщнк.— Помнлуйте! только бы своих уносить. Вон стерва! ядрами теперь стал пускать,— прибавил он, приседая. Михайлов тоже присел н схватнлся за голову, которая от движенья ужасио заболела у него.

— Нет, непременно надо сходить взять: может быть, он еще жнв,— сказал Михайлов.— Это наш *долг,* Мнхайло Иваныч!

Мнхайло Иваныч не отвечал.

«Вот ежелн бы он был хорошнй офицер, он бы взял тогда, а теперь надо солдат посылать одних; а н посылать как? Под этнм страшиым огнем могут убить задаром»,— думал Мнхайлов.

— Ребята! Надо сходить назад — взять офицера, что ранен там, в канаве,— сказал ои ие слишком громко н повелительио, чувствуя, как неприятно будет солдатам нсполнять это приказаиье,— н действительно, так как ои ни к кому имеиио ие обращался, иикто ие вышел, чтобы исполннть его.

— Унтер-офицер! Подн сюда.

Унтер-офицер, как будто не слыша, продолжал идти иа своем месте.

«И точно, может, ои уже умер и *не стоит* подвергать людей иапрасной опасиости, а виноват одии я, что ие позаботнлся. Схожу сам, узиаю, жив ли ои. Это мой *долг»,*— сказал сам себе Михайлов.

— Михал Иваиыч! Ведите роту, а я вас догоию,— сказал он и, одиой рукой подобрав шииель, другой рукой дотрагнваясь беспрестаино до образка Митрофанння-угодника, в которого он имел особенную веру, почтн ползком и дрожа от страха, рысью побежал по траншее.

Убедившись в том, что товарнщ его был убит, Михайлов, так же пыхтя, приседая и придерживая рукой сбившуюся повязку н голову, которая сильио иачииала болеть у него, потащился иазад. Батальои уже был под горой на месте и почти вие выстрелов, когда Мнхайлов догнал его. Я говорю: *почти* вие выстрелов, потому что изредка залетали и сюда шальиые бомбы (осколком одной в эту иочь убит один капнтаи, который сидел во время дела в матросской земляике).

«Одиако иадо будет завтра сходить иа перевязочиый пуикт записаться,— подумал штабс-капитаи, в то время как пришедший фельдшер перевязывал его,— это поможет к представленью».

14

Сотни свежнх окровавленных тел людей, за два часа тому назад полных разнообразных, высоких н мелкнх надежд и желаний, с окоченелымн членамн, лежали иа роснстой цветущей долнне, отделяющей бастион от траншеи, н на ровном полу часовни Мертвых в Севастополе; сотнн людей — с проклятиями н молитвамн на пересохшнх устах — ползали, ворочалнсь и стоиали,— однн между трупами на цветущей долние, другне на носнлках, на койках н на окровавленном полу перевязочного пункта; а все так же, как н в прежнне днн, загорелась зарнница над Сапун-горою, побледнелн мерцающне звезды, потянул белый туман с шумящего темного моря, зажглась алая заря на востоке, разбежались багровые длинные тучкн по светло-лазуриому горнзонту, н все так же, как н в прежиие днн, обещая радость, любовь н счастье всему ожнвшему миру, выплыло могучее, прекрасное светнло.

15

На другой день вечером опять егерская музыка играла иа бульваре, н опять офнцеры, юнкера, солдаты и молодые женщины праздиично гуляли около павильоиа н по нижинм аллеям из цветущих душнстых белых акацнй.

Калугнн, киязь Гальцнн н какой-то полковинк ходнли под рукн около павильона и говорилн о вчерашнем деле. Главною путеводнтельною ннтью разговора, как это всегда бывает в подобиых случаях, было не самое дело, а то участие, которое принимал, н храбрость, которую выказал рассказывающий в деле. Лица и звук голосов их нмели серьезиое, почтн печальиое выраженне, как будто потери вчерашнего дня сильно трогали н огорчалн каждого, но, сказать по правде, так как инкто нз ннх не потерял очень блнзкого человека (да и бывают ли в военном быту очеиь близкне люди?), это выражение печалн было выражение офнцнальное, которое они только счнтали обязаиностью выказывать. Напротив, Калугин н полковиик былн бы готовы каждый день видеть такое дело, с тем чтобы только каждый раз получать золотую саблю н геиерал-майора, несмотря иа то, что оии были прекрасные людн. Я люблю, когда называют извергом какого-инбудь завоевателя, для своего честолюбия губящего миллноны. Да спросите по совести прапорщика Петрушова н подпоручнка Антоиова н т. д., всякий нз них маленькнй Наполеон, малеиький изверг н сейчас готов затеять сражеиие, убить человек сотию для того только, чтоб получить лишиюю звездочку или треть жаловаиья.

— Нет, извииите,— говорил полковник,— прежде иачалось иа левом флаиге. *Ведь я был там.*

— А может быть,— отвечал Калугин,— *я больше был на правом; я два раза туда ходил: один раз отыскивал генерала, а другой раз так, посмотреть ложементы пошел. Вот где жарко было.*

— Да уж, верно, Калугин знает,— сказал полковнику князь Гальцин,— ты знаешь, *мне* нынче *В..* про тебя говорил, что ты молодцом.

— Потери только, потери ужасные,— сказал полковник тоном официальной печали, — *у меня в полку четыреста человек выбыло.* Удивительно, *как я жив вышел оттуда.*

В это время навстречу этим господам, на другом конце бульвара, показалась лиловатая фигура Михайлова на стоптанных сапогах и с повязанной головой. Он очень сконфузился, увидав их: ему вспомнилось, как он вчера приседал перед Калугиным, и пришло в голову, как бы они не подумали, что он притворяется раненым. Так что ежели бы эти господа не смотрели на него, то он бы сбежал вниз и ушел бы домой, с тем чтобы не выходить до тех пор, пока можно будет снять повязку.

— Il fallait voir dans quel etat je l'ai rencontre hier sous le feu[1],— улыбнувшись, сказал Калугин в то время, как они сходились.

— Что, вы ранены, капитан? — сказал Калугин с улыбкой, которая значила: «Что, вы видели меня вчера? каков я?»

— Да, немножко, камнем,— отвечал Михайлов, краснея и с выражением на лице, которое говорило: «Видел, и признаюсь, что вы молодец, а я очень, очень плох».

— Est-ce que le pavillon est baissé déjà?[2] — спросил князь Гальцин опять с своим высокомерным выражением, глядя на фуражку штабс-капитана и не обращаясь ни к кому в особенности.

— Non pas encore[3], — отвечал Михайлов, которому хотелось показать, что он знает и поговорить по-французски.

— Неужели продолжается еще перемирие? — сказал Гальцин, учтиво обращаясь к нему по-русски и тем говоря,— как это показалось штабс-капитану,— что вам, должно быть, тяжело будет говорить по-французски, так не лучше ли уж просто?.. И с этим адъютанты отошли от него.

Штабс-капитан, так же как и вчера, почувствовал себя чрезвычайно одиноким и, поклонившись с разными господами — с одними не желая сходиться, а к другим не решаясь подойти,— сел около памятника Казарского и закурил папиросу.

Барон Пест тоже пришел на бульвар. Он рассказывал, что был на перемирии и говорил с французскими офицерами, что будто один французский офицер сказал ему: «S'il n'avait pas fait clair encore pendant une demi-heure, les embuscades auraient été reprises»[1], и как он отвечал ему: «Monsieur! je ne dis pas non, pour ne pas vous donner un démenti»[2], и как хорошо он сказал и т. д.

[1] Надо было видеть, в каком состоянии я его встретил вчера под огнем *(фр.)*.

[2] Разве флаг уже спущен? *(фр.)*.

[3] Нет еще *(фр.)*.

В сущности же, хотя и был на перемирии, он не успел сказать там ничего очень умного, хотя ему и ужасно хотелось поговорить с французами (ведь это ужасно весело говорить с французами). Юнкер барон Пест долго ходил по линии и все спрашивал французов, которые были близко к нему: «De quel régiment etes-vous?»[3] Ему отвечали — и больше ничего. Когда же он зашел слишком далеко за линию, то французский часовой, не подозревая, что этот солдат знает по-французски, в третьем лице выругал его. «Il vient regarder nos travaux ce sacré c.....»[4],— сказал он. Вследствие чего, не находя больше интереса на перемирии, юнкер барон Пест поехал домой и уже дорогой придумал те французские фразы, которые теперь рассказывал. На бульваре были и капитан Зобов, который громко разговаривал, и капитан Обжогов в растерзанном виде, и артиллерийский капитан, который ни в ком не заискивает, и счастливый в любви юнкер, и все те же вчерашние лица и всё с теми же вечными побуждениями лжи, тщеславия и легкомыслия. Недоставало только Праскухина, Нефердова и еще кой-кого, о которых здесь едва ли помнил и думал кто-нибудь теперь, когда тела их еще не успели быть обмыты, убраны и зарыты в землю, и о которых через месяц точно так же забудут отцы, матери, жены, дети, ежели они были или не забыли про них прежде.

— А я его не узнал было, старика-то,— говорит солдат на уборке тел, за плечи поднимая перебитый в груди труп с огромной раздувшейся головой, почернелым глянцевитым лицом и вывернутыми зрачками,— под спину берись, Морозка, а то как бы не перервался. Ишь, дух скверный!

«Ишь, дух скверный!» — вот все, что осталось между людьми от этого человека.

. . . .

16

На нашем бастионе и на французской траншее выставлены белые флаги, и между ними в цветущей долине кучками лежат без сапог, в серых и в синих одеждах, изуродованные трупы, которые сносят рабочие и накладывают на повозки. Ужасный, тяжелый запах мертвого тела наполняет воздух. Из

[1] Если бы еще полчаса было темно, ложементы были бы вторично взяты *(фр.)*.

[2] Я не говорю нет, только чтобы вам не противоречить *(фр.)*.

[3] Какого вы полка? *(фр.)*

[4] Он идет смотреть наши работы, этот проклятый... *(фр.)*

Севастополя и из французского лагеря толпы народа высыпали смотреть на это зрелище и с жадным и благосклонным любопытством стремятся одни к другим.

Послушайте, что говорят между собой эти люди.

Вот в кружке собравшихся около него русских и французов молоденький офицер, хотя плохо, но достаточно хорошо, чтоб его понимали, говорящий по-французски, рассматривает гвардейскую сумку.

— Э сеси пуркуа се уазо иси? — говорит он.

— Parce que c'est une giberne d'un regiment de la garde, monsieur, qui porte l'aigle imperial.

— Э ву де ла гард?

— Pardon, monsieur, du sixième de ligne.

— Э сеси у аште?[1] — спрашивает офицер, указывая на деревянную желтую сигарочницу, в которой француз курит папиросу.

— A Balaclave, monsieur! C'est tout simple — en bois de palme[2].

— Жоли! — говорит офицер, руководимый в разговоре не столько собственным произволом, сколько словами, которые он знает.

— Si vous voulez bien garder cela comme souvenir de cette rencontre, vous m'obligerez[3].— И учтивый француз выдувает папироску и подает офицеру сигарочницу с маленьким поклоном. Офицер дает ему свою, и все присутствующие в группе, как французы, так и русские, кажутся очень довольными и улыбаются.

Вот пехотный бойкий солдат, в розовой рубашке и шинели внакидку, в сопровождении других солдат, которые, руки за спину, с веселыми, любопытными лицами, стоят за ним, подошел к французу и попросил у него огня закурить трубку. Француз разжигает, расковыривает трубку и высыпает огня русскому.

— Табак *бун,*— говорит солдат в розовой рубашке, и зрители улыбаются.

— Oui, bon tabac, tabac turc, — говорит француз, — et chez vous tabac russe? bon?[4]

— Рус бун,— говорит солдат в розовой рубашке, причем присутствующие покатываются со смеху.— Франсе нет бун, бонжур, мусье, — говорит солдат в розовой рубашке, сразу же выпуская весь свой заряд знаний языка, и треплет француза по животу и смеется. Французы тоже смеются.

— Ils ne sont pas jolis ces betes de russes[1], — говорит один зуав из толпы французов.

— De quoi de ce qu'ils rient donc?[2] — говорит другой черный, с итальянским выговором, подходя к нашим.

— Кафтан бун,— говорит бойкий солдат, рассматривая шитые полы зуава, и опять смеются.

— Ne sortez pas de la ligne, à vos places, sacré nom......[3] — кричит французский капрал, и солдаты с видимым неудовольствием расходятся.

А вот в кружке французских офицеров наш молодой кавалерийский офицер так и рассыпается французским парикмахерским жаргоном. Речь идет о каком-то comte Sazonoff, que j'ai beaucoup connu, monsieur[4], — говорит французский офицер с одним эполетом, — c'est un de ces vrais comtes russes, comme nous les aimons[5].

— Il y a un Sazonoff que j'ai connu,— говорит кавалерист,— mais il n'est pas comte, a moins que je sache, un petit brun de votre âge à peu près.

— C'est ça, monsieur, c'est lui. Oh, que je voudrais le voir ce cher comte. Si vous le voyez, je vous pris bien de lui faire mes compliments. Capitaine Latour[6], — говорит он, кланяясь.

— N'est ce pas terrible la triste besogne, que nous faisons? Ça chauffait cette nuit, n'est-ce pas?[7] — говорит кавалерист, желая поддержать разговор и указывая на трупы.

— Oh, monsieur, c'est affreux! Mais quels gaillards vos soldats, quels gaillards! C'est un plaisir que de se battre contre des gaillards comme eux.

— Il faut avouer que les vôtres ne se mouchent pas du pied non plus[8], — говорит кавалерист, кланяясь и воображая, что он очень мил. Но довольно.

Посмотрите лучше на этого десятилетнего мальчишку, который в старом, должно быть, отцовском, картузе, в башмаках на босу

---

[1] Почему эта птица здесь?
— Потому что эта сумка гвардейского полка; у него императорский орел.
— А вы из гвардии?
— Нет, извините, сударь, из шестого линейного.
— А это где купили? *(фр.)*

[2] В Балаклаве. Это пустяк — из пальмового дерева *(фр.)*.

[3] Вы меня обяжете, если оставите себе эту вещь на память о нашей встрече *(фр.)*.

[4] Да, хороший табак, турецкий табак, — а у вас русский табак? хороший? *(фр.)*

[1] Они некрасивы, эти русские скоты *(фр.)*.

[2] Чего это они смеются? *(фр.)*

[3] Не выходите за линию, по местам, черт возьми... *(фр.)*

[4] графе Сазонове, которого я хорошо знал, сударь *(фр.)*.

[5] это один из настоящих русских графов, из тех, которых мы любим *(фр.)*.

[6] — Я знал одного Сазонова, но он, насколько я знаю, не граф, небольшого роста, брюнет, приблизительно вашего возраста.
— Это так, это он. О, как я хотел бы встретить этого милого графа. Если вы его увидите, очень прошу передать ему мой привет. Капитан Латур *(фр.)*.

[7] Не ужасно ли это печальное дело, которым мы занимались? Жарко было прошлой ночью, не правда ли? *(фр.)*

[8] — О! это ужасно! Но какие молодцы ваши солдаты, какие молодцы! Это удовольствие — драться с такими молодцами!
— Надо признаться, что и ваши не ногой сморкаются *(фр.)*.

ногу н нанковых штанишках, поддерживаемых одною помочью, с самого начала перемирня вышел за вал н все ходил по лощиие, с тупым любопытством глядя на французов и на трупы, лежащие на земле, и набирал полевые голубые цветы, которыми усыпана эта роковая долина. Возвращаясь домой с большим букетом, он, закрыв нос от запаха, который наносило на него ветром, остановился около кучкн снесенных тел и долго смотрел на один страшный, безголовый труп, бывший ближе к нему. Постояв довольно долго, он подвинулся ближе и дотронулся ногой до вытянутой окоченевшей рукн трупа. Рука покачнулась иемного. Он тронул ее еще раз и крепче. Рука покачнулась и опять стала на свое место. Мальчик вдруг вскрикнул, спрятал лицо в цветы и во весь дух побежал прочь к крепости.

Да, на бастионе и на траншее выставлеиы белые флаги, цветущая долина наполнена смраднымн телами, прекрасное солнце спускается к синему морю, и синее море, колыхаясь, блестит на золотых лучах солнца. Тысячи людей толпятся, смотрят, говорят и улыбаются друг другу. И эти люди — христиане, исповедующие один великий закон любви и самоотверження, глядя на то, что они сделалн, с раскаянием не упадут вдруг на колени перед тем, кто, дав им жизнь, вложил в душу каждого, вместе с страхом смертн, любовь к добру и прекрасному, и со слезами радости и счастия не обнимутся, как братья? Нет! Белые тряпки спрятаиы — и снова свистят орудия смерти и страданий, снова льется невнниая кровь и слышатся стоны н проклятия.

Вот я и сказал, что хотел сказать на этот раз. Но тяжелое раздумье одолевает меия. Может, не надо было говорить этого. Может быть, то, что я сказал, принадлежнт к одиой из тех злых истин, которые, бессознательно таясь в душе каждого, не должны быть высказываемы, чтобы не сделаться вредными, как осадок вина, который не надо взбалтывать, чтобы не испортнть его.

Где выражеиие зла, которого должио нзбегать? Где выраженне добра, которому должно подражать в этой повести? Кто злодей, кто герой ее? Все хороши и все дурны.

Ни Калугин с своей блестящей храбростью (bravoure de gentilhomme[1]) и тщеславием, двигателем всех поступков, ни Праскухин, пустой, безвредный человек, хотя н павшнй *на брани за веру, престол и отечество,* ни Михайлов с своей робостью и ограниченным взглядом, ни Пест — ребенок без твердых убеждений и правил, не могут быть ни злодеями, ии героями повести.

Герой же моей повести, которого я люблю всеми силами души, которого старался воспроизвести во всей красоте его и который всегда был, есть и будет прекрасен,— правда.

1855 года, 26 июня

[1] храбростью дворяиина *(фр.)*.

СЕВАСТОПОЛЬ В АВГУСТЕ 1855 ГОДА

1

В конце августа по большой ущелистой севастопольской дороге, между Дуванкой[1] н Бахчисараем, шагом, в густой н жаркой пыли, ехала офицерская тележка (та особенная, больше нигде не встречаемая тележка, составляющая нечто среднее между жидовской бричкой, русской повозкой н корзинкой).

В повозке — спередн, на корточках, сидел денщик в нанковом сюртуке и сделавшейся совершенно мягкой бывшей офнцерской фуражке, подергнвавший вожжами; сзадн, на узлах и вьюках, покрытых попонкой, сндел пехотный офицер в летней шинелн. Офнцер был, сколько можно было заключнть о нем в сидячем положении, невысок ростом, но чрезвычайно широк, н не столько от плеча до плеча, сколько от грудн до спнны; он был широк н плотен, шея и затылок былн у него очень развиты и напружены, так называемой таллн — перехвата в середнне туловнща — у него не было, но н жнвота тоже не было, напротнв — он был скорее худ, особенно в лнце, покрытом нездоровым желтоватым загаром. Лицо его было бы краснво, ежелн бы не какая-то одутловатость и мягкне, нестарческие, крупные морщины, сливавшне и увеличнвавшие черты и дававшне всему лицу общее выражение несвежестн н грубости. Глаза у него были небольшне, карие, чрезвычайно бойкие, даже наглые, усы очень густые, но не широкие, н обкусанные; а подбородок и особенно скулы покрыты были чрезвычайно крепкой, частой и черной двухдневной бородой. Офицер был ранен 10 мая осколком в голову, на которой еще до сих пор он носил повязку, и теперь, чувствуя себя уже с неделю совершенно здоровым, нз снмферопольского госпиталя ехал к полку, который стоял где-то там, откуда слышались выстрелы,— но в самом лн Севастополе, на Северной нли на Инкермане, он еще нн от кого не мог узнать хорошенько. Выстрелы уже слышались, особенно нногда, когда ие мешали горы илн доноснл ветер, чрезвычайно ясно, часто н, казалось, блнзко: то как будто взрыв потрясал воздух н невольно заставлял вздрагнвать, то быстро друг за другом следовалн менее снльные звуки, как барабанная

[1] Последияя станция к Севастополю. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

дробь, перебиваемая иногда поразительным гулом, то все сливалось в какой-то перекатывающийся треск, похожий на громовые удары, когда гроза во всем разгаре и только что полил ливень. Все говорили, да и слышно было, что бомбардированье идет ужасное. Офицер погонял денщика: ему, казалось, хотелось как можно скорей приехать. Навстречу шел большой обоз русских мужиков, привозивших провиант в Севастополь, и теперь шедший оттуда, наполненный больными и ранеными солдатами в серых шинелях, матросами в черных пальто, греческими волонтерами в красных фесках и ополченцами с бородами. Офицерская повозочка должна была остановиться, и офицер, щурясь и морщась от пыли, густым, неподвижным облаком поднявшейся на дороге, набивавшейся ему в глаза и уши и липнувшей на потное лицо, с озлобленным равнодушием смотрел на лица больных и раненых, двигавшихся мимо него.

— А это с нашей роты солдатик слабый,— сказал денщик, оборачиваясь к барину и указывая на повозку, наполненную ранеными, в это время поравнявшуюся с ними.

На повозке спереди сидел боком русский бородач в поярковой шляпе и, локтем придерживая кнутовище, связывал кнут. За ним в телеге тряслись человек пять солдат в различных положениях. Один, с подвязанной какой-то веревочкой рукой, с шинелью внакидку на весьма грязной рубахе, хотя худой и бледный, сидел бодро в середине телеги и взялся было за шапку, увидав офицера, но потом, вспомнив, верно, что он раненый, сделал вид, что он только хотел почесать голову. Другой, рядом с ним, лежал на самом дне повозки; видны были только две исхудалые руки, которыми он держался за грядки повозки, и поднятые колени, как мочалы мотавшиеся в разные стороны. Третий, с опухшим лицом и обвязанной головой, на которой сверху торчала солдатская шапка, сидел сбоку, спустив ноги к колесу, и, облокотившись руками на колени, дремал, казалось. К нему-то и обратился проезжий офицер.

— Должников! — крикнул он.

— Я-о,— отвечал солдат, открывая глаза и снимая фуражку, таким густым и отрывистым басом, как будто человек двадцать солдат крикнули вместе.

— Когда ты ранен, братец?

Оловянные, заплывшие глаза солдата оживились: он, видимо, узнал своего офицера.

— Здравия желаем, вашбородие! — тем же отрывистым басом крикнул он.

— Где нынче полк стоит?

— В Сивастополе стояли; в середу переходить хотели, вашбородие!

— Куда?

— Неизвестно... должно, на Сиверную, вашбородие! Нынче, вашбородие,— прибавил он протяжным голосом и надевая шапку,— уже скрозь палить стал, все больше с бомбов, ажно в бухту доносит; нынче так бьет, что бяда ажно...

Дальше нельзя было слышать, что говорил солдат; но по выражению его лица и позы видно было, что он, с некоторой злобой страдающего человека, говорил вещи неутешительные.

Проезжий офицер, поручик Козельцов, был офицер недюжинный. Он был не из тех, которые живут так-то и делают то-то, а не делают того-то потому, что так живут и делают другие: он делал все, что ему хотелось, а другие уж делали то же самое и были уверены, что это хорошо. Его натура была довольно богата; он был неглуп и вместе с тем талантлив, хорошо пел, играл на гитаре, говорил очень бойко и писал весьма легко, особенно казенные бумаги, на которые набил руку в свою бытность полковым адъютантом; но более всего замечательна была его натура самолюбивой энергией, которая, хотя и была более всего основана на этой мелкой даровитости, была сама по себе черта резкая и поразительная. У него было одно из тех самолюбий, которое до такой степени слилось с жизнью и которое чаще всего развивается в одних мужских, и особенно военных, кружках, что он не понимал другого выбора, как первенствовать или уничтожаться, и что самолюбие было двигателем даже его внутренних побуждений: он сам с собой любил первенствовать над людьми, с которыми себя сравнивал.

— Как же! очень буду слушать, что *Москва*[1] болтает! — пробормотал поручик, ощущая какую-то тяжесть апатии на сердце и туманность мыслей, оставленных в нем видом транспорта раненых и словами солдата, значение которых невольно усиливалось и подтверждалось звуками бомбардированья.— *Смешная эта Москва...* Пошел, Николаев, трогай же... Что ты заснул! — прибавил он несколько ворчливо на денщика, поправляя полы шинели.

Вожжи задергались, Николаев зачмокал, и повозочка покатилась рысью.

— Только покормим минутку и сейчас, нынче же, дальше,— сказал офицер.

2

Уже въезжая в улицу разваленных остатков каменных стен татарских домов Дуванкой, поручик Козельцов снова был задержан транспортом бомб и ядер, шедшим в Севастополь и столпившимся на дороге.

Два пехотных солдата сидели в самой пыли на камнях разваленного забора, около дороги, и ели арбуз с хлебом.

— Далече идете, землячок? — сказал один из них, пережевывая хлеб, солдату, который

[1] Во многих армейских полках офицеры полупрезрительно, полуласкательно называют солдата *Москва* или еще *присяга*. *(Примеч. Л. Н. Толстого.)*

с небольшим мешком за плечами остановился около них.

— В роту идем из губернии,— отвечал солдат, глядя в сторону от арбуза и поправляя мешок за спиной.— Мы вот почитай что третью неделю при сене ротном находились, а теперь, вишь, потребовали всех; да неизвестно, в каком месте полк находится в теперешнее время. Сказывали, что на Корабельную заступили наши в прошлой неделе. Вы не слыхали, господа?

— В городу, брат, стоит, в городу,— проговорил другой, старый фурштатский солдат, копавший с наслаждением складным ножом в неспелом, белёсом арбузе.— Мы вот только с полдён оттеле идем. Такая страсть, братец ты мой, что и не ходи лучше, а здесь упади где-нибудь, в сене, денек-другой пролежи — дело-то лучше будет.

— А что так, господа?

— Рази не слышишь, нынче кругом палит, аж и места целого нет. Что нашего брата перебил, и сказать нельзя! — И говоривший махнул рукой и поправил шапку.

Прохожий солдат задумчиво покачал головой, почмокал языком, потом достал из голенища трубочку, не накладывая ее, расковырял прижженный табак, зажег кусочек трута у курившего солдата и приподнял шапочку.

— Никто, как бог, господа! Прощенья просим! — сказал он и, встряхнув за спиною мешок, пошел по дороге.

— Эх, обождал бы лучше! — сказал убедительно-протяжно ковырявший арбуз.

— Все одно,— пробормотал прохожий, пролезая между колес столпившихся повозок,— видно, тоже харбуза купить повечерять; вишь, что говорят люди.

3

Станция была полна народом, когда Козельцов подъехал к ней. Первое лицо, встретившееся ему еще на крыльце, был худощавый, очень молодой человек, смотритель, который перебранивался с следовавшими за ним двумя офицерами.

— И не то что трое суток, и десятеро суток подождете! и генералы ждут, батюшка! — говорил смотритель с желанием кольнуть проезжающих,— а я вам не запрягусь же.

— Так никому не давать лошадей, коли нету!.. А зачем дал какому-то лакею с вещами? — кричал старший из двух офицеров, с стаканом чаю в руках и, видимо, избегая местоимения, но давая чувствовать, что очень легко и *ты* сказать смотрителю.

— Ведь вы сами рассудите, господин смотритель,— говорил с запинками другой, молоденький офицерик,— нам не для своего удовольствия нужно ехать. Ведь мы тоже, стало быть, нужны, коли нас требовали. А то я, право, генералу Крамперу непременно это скажу. А то ведь это что ж... вы, значит, не уважаете офицерского звания.

— Вы всегда испортите! — перебил его с досадой старший.— Вы только мешаете мне; надо уметь с ними говорить. Вот он и потерял уваженье. Лошадей сию минуту, я говорю!

— И рад бы, батюшка, да где их взять-то?

Смотритель помолчал немного и вдруг разгорячился и, размахивая руками, начал говорить:

— Я, батюшка, сам понимаю и все знаю; да что станете делать! Вот дайте мне только (на лицах офицеров выразилась надежда)... дайте только до конца месяца дожить — и меня здесь не будет. Лучше на Малахов курган пойду, чем здесь оставаться. Ей-богу! Пусть делают как хотят, когда такие распоряжения: на всей станции теперь ни одной повозки крепкой нет, и клочка сена уж третий день лошади не видали.

И смотритель скрылся в воротах.

Козельцов вместе с офицерами вошел в комнату.

— Что ж,— совершенно спокойно сказал старший офицер младшему, хотя за секунду перед этим он казался разъяренным,— уж три месяца едем, подождем еще. Не беда — успеем.

Дымная, грязная комната была так полна офицерами и чемоданами, что Козельцов едва нашел место на окне, где и присел; вглядываясь в лица и вслушиваясь в разговоры, он начал делать папироску. Направо от двери, около кривого сального стола, на котором стояло два самовара с позеленелой кое-где медью и разложен был сахар в разных бумагах, сидела главная группа: молодой безусый офицер в новом стеганом архалуке, наверное, сделанном из женского капота, доливал чайник; человека четыре таких же молоденьких офицеров находились в разных углах комнаты: один из них, подложив под голову какую-то шубу, спал на диване; другой, стоя у стола, резал жареную баранину безрукому офицеру, сидевшему у стола. Два офицера, один в адъютантской шинели, другой в пехотной, но тонкой, и с сумкой через плечо, сидели около лежанки; и по одному тому, как они смотрели на других и как тот, который был с сумкой, курил сигару, видно было, что они не фронтовые пехотные офицеры и что они довольны этим. Не то, чтобы видно было презрение в их манере, но какое-то самодовольное спокойствие, основанное частью на деньгах, частью на близких сношениях с генералами,— сознание превосходства, доходящее даже до желания скрыть его. Еще молодой губастый доктор и артиллерист с немецкой физиономией сидели почти на ногах молодого офицера, спящего на диване, и считали деньги. Человека четыре денщиков — одни дремали, другие возились с чемоданами и узлами около двери. Козельцов между всеми лицами не нашел ни одного знакомого; но он с любопытством стал вслушиваться в разговоры.

Молодые офицеры, которые, как он тотчас же по одному виду решил, только что ехали из корпуса, понравились ему, и главное, напомнили, что брат его, тоже из корпуса, на днях должен был прибыть в одну из батарей Севастополя. В офицере же с сумкой, которого лицо он видел где-то, ему все казалось противно и нагло. Он даже с мыслью: «Осадить его, ежели бы он вздумал что-нибудь сказать»,— перешел от окна к лежанке и сел на нее. Козельцов вообще, как истый фронтовой и хороший офицер, не только не любил, но был возмущен против штабных, которыми он с первого взгляда признал этих двух офицеров.

4

— Однако это ужасно как досадно,— говорил один из молодых офицеров,— что так уже близко, а нельзя доехать. Может быть, нынче дело будет, а нас не будет.

В пискливом тоне голоса и в пятновидном свежем румянце, набежавшем на молодое лицо этого офицера в то время, как он говорил, видна была эта милая молодая робость человека, который беспрестанно боится, что не так выходит его каждое слово.

Безрукий офицер с улыбкой посмотрел на него.

— Поспеете еще, поверьте,— сказал он.

Молодой офицерик с уважением посмотрел на исхудалое лицо безрукого, неожиданно просветлевшее улыбкой, замолчал и снова занялся чаем. Действительно, в лице безрукого офицера, в его позе и особенно в этом пустом рукаве шинели выражалось много этого спокойного равнодушия, которое можно объяснить так, что при всяком деле или разговоре он смотрел, как будто говоря: «Все это прекрасно, все это я знаю и все могу сделать, ежели бы я захотел только».

— Как же мы решим,— сказал снова молодой офицер своему товарищу в архалуке,— ночуем здесь или поедем на *своей* лошади?

Товарищ отказался ехать.

— Вы можете себе представить, капитан,— продолжал разливавший чай, обращаясь к безрукому и поднимая ножик, который уронил этот,— нам сказали, что лошади ужасно дороги в Севастополе, мы и купили сообща лошадь в Симферополе.

— Дорого, я думаю, с вас содрали?

— Право, не знаю, капитан: мы заплатили с повозкой девяносто рублей. Это очень дорого? — прибавил он, обращаясь ко всем и к Козельцову, который смотрел на него.

— Недорого, коли молодая лошадь,— сказал Козельцов.

— Не правда ли? А нам говорили, что дорого... Только она хромая немножко, только это пройдет, нам говорили. Она крепкая такая.

— Вы из какого корпуса? — спросил Козельцов, который хотел узнать о брате.

— Мы теперь из Дворянского полка, нас шесть человек; мы все едем в Севастополь по собственному желанию,— говорил словоохотливый офицерик,— только мы не знаем, где наши батареи: одни говорят, что в Севастополе, а вот они говорили, что в Одессе.

— А в Симферополе разве нельзя было узнать? — спросил Козельцов.

— Не знают... Можете себе представить, наш товарищ ходил там в канцелярию: ему грубостей наговорили... можете себе представить, как неприятно!.. Угодно вам готовую папироску? — сказал он в это время безрукому офицеру, который хотел достать свою сигарочницу.

Он с каким-то подобострастным восторгом услуживал ему.

— А вы тоже из Севастополя? — продолжал он.— Ах, боже мой, как это удивительно! Ведь как мы все в Петербурге думали об вас, обо всех героях! — сказал он, обращаясь к Козельцову, с уважением и добродушной лаской.

— Как же, вам, может, назад придется ехать? — спросил поручик.

— Вот этого-то мы и боимся. Можете себе представить, что мы, как купили лошадь и обзавелись всем нужным — кофейник спиртовой и еще разные мелочи необходимые,— у нас денег совсем не осталось,— сказал он тихим голосом и оглядываясь на своего товарища,— так что ежели ехать назад, мы уж и не знаем, как быть.

— Разве вы не получили подъемных денег? — спросил Козельцов.

— Нет,— отвечал он шепотом,— только нам обещали тут дать.

— А свидетельство у вас есть?

— Я знаю, что главное — свидетельство; но мне в Москве сенатор один — он мне дядя,— как я у него был, он сказал, что тут дадут, а то бы он сам мне дал. Так дадут так?

— Непременно дадут.

— И я думаю, что, может быть, так дадут,— сказал он таким тоном, который доказывал, что, спрашивая на тридцати станциях одно и то же и везде получая различные ответы, он уже никому не верил хорошенько.

5

— Да как же не дать,— сказал вдруг офицер, бранившийся на крыльце с смотрителем и в это время подошедший к разговаривающим и обращаясь отчасти и к штабным, сидевшим подле, как к более достойным слушателям.— Ведь я так же, как и эти господа, пожелал в действующую армию, даже в самый Севастополь просился от прекрасного места, и мне, кроме прогонов от П., сто тридцать шесть рублей серебром, ничего не дали, а я уж своих больше ста пятидесяти рублей издержал. Подумать только, восемьсот верст третий месяц еду. Вот с этими господами вто-

рой месяц. Хорошо, что у меня были свои деньги. Ну, а коли бы не было их?

— Неужели третий месяц? — спросил кто-то.

— А что прикажете делать,— продолжал рассказывающий.— Ведь ежели бы я не хотел ехать, я бы и не просился от хорошего места; так, стало быть, я не стал бы жить по дороге, уж не оттого, чтоб я боялся бы... а возможности никакой нет. В Перекопе, например, я две недели жил; смотритель с вами и говорить не хочет,— когда хотите поезжайте; одних курьерских подорожных вот сколько лежит. Уж, верно, так судьба... ведь я бы желал, да, видно, судьба; я ведь не оттого, что вот теперь бомбардированье, а, видно, торопись не торопись — все равно; а я бы как желал...

Этот офицер так старательно объяснял причины своего замедления и как будто оправдывался в них, что это невольно наводило на мысль, что он трусит. Это еще стало заметнее, когда он расспрашивал о месте нахождения своего полка и опасно ли там. Он даже побледнел, и голос его оборвался, когда безрукий офицер, который был в том же полку, сказал ему, что в эти два дня у них одних офицеров семнадцать человек выбыло.

Действительно, офицер этот в настоящую минуту был жесточайшим трусом, хотя шесть месяцев тому назад он далеко не был им. С ним произошел переворот, который испытали многие и прежде и после него. Он жил в одной из наших губерний, в которых есть кадетские корпуса, и имел прекрасное покойное место, но, читая в газетах и частных письмах о делах севастопольских героев, своих прежних товарищей, он вдруг возгорелся честолюбием и еще более — патриотизмом.

Он пожертвовал этому чувству весьма многим — и обжитым местом, и квартеркой с мягкой мебелью, заведенной осьмилетним старанием, и знакомствами, и надеждами на богатую женитьбу,— он бросил все и подал еще в феврале в действующую армию, мечтая о бессмертном венке славы и генеральских эполетах. Через два месяца после подачи прошенья он *по команде* получил запрос, не будет ли он требовать вспомоществования от правительства. Он отвечал отрицательно и терпеливо продолжал ожидать определения, хотя патриотический жар уже успел значительно остыть в эти два месяца. Еще через два месяца он получил запрос, не принадлежит ли он к масонским ложам, и еще подобного рода формальности, и после отрицательного ответа, наконец, на пятый месяц вышло его определение. Во все это время приятели, а более всего то заднее чувство недовольства новым, которое является при каждой перемене положения, успели убедить его в том, что он сделал величайшую глупость, поступив в действующую армию. Когда же он очутился один с изжогой и запыленным лицом, на пятой станции, на которой он встретился с курьером из Севастополя, рассказавшим ему про ужасы войны, прождал двенадцать часов лошадей,— он уже совершенно раскаивался в своем легкомыслии, с смутным ужасом думал о предстоящем и ехал бессознательно вперед, как на жертву. Чувство это в продолжение трехмесячного странствования по станциям, на которых почти везде надо было ждать и встречать едущих из Севастополя офицеров с ужасными рассказами, постоянно увеличивалось и наконец довело до того бедного офицера, что из героя, готового на самые отчаянные предприятия, каким он воображал себя в П., в Дуванкóй он был жалким трусом; и, съехавшись месяц тому назад с молодежью, едущей из корпуса, он старался ехать как можно тише, считая эти дни последними в своей жизни, на каждой станции разбирал кровать, погребец, составлял партию в преферанс, на жалобную книгу смотрел, как на препровождение времени, и радовался, когда лошадей ему не давали.

Он действительно бы был героем, ежели бы из П. попал прямо на бастионы, а теперь еще много ему надо было пройти моральных страданий, чтобы сделаться тем спокойным, терпеливым человеком в труде и опасности, каким мы привыкли видеть русского офицера. Но энтузиазм уже трудно бы было воскресить в нем.

6

— Кто борщу требовал? — провозгласила довольно грязная хозяйка, толстая женщина лет сорока, с миской щей входя в комнату.

Разговор тотчас же замолк, и все бывшие в комнате устремили глаза на харчевницу. Офицер, ехавший из П., даже подмигнул на нее молодому офицеру.

— Ах, это Козельцов спрашивал,— сказал молодой офицер,— надо его разбудить. Вставай обедать,— сказал он, подходя к спящему на диване и толкая его за плечо.

Молодой мальчик, лет семнадцати, с веселыми черными глазками и румянцем во всю щеку, вскочил энергически с дивана и, протирая глаза, остановился посередине комнаты.

— Ах, извините, пожалуйста,— сказал он серебристым звучным голосом доктору, которого толкнул, вставая.

Поручик Козельцов тотчас же узнал брата и подошел к нему.

— Не узнаешь? — сказал он, улыбаясь.

— А-а-а! — закричал меньшой брат.— Вот удивительно! — и стал целовать брата.

Они поцеловались три раза, но на третьем разе запнулись, как будто обоим пришла мысль: зачем же непременно нужно три раза?

— Ну, как я рад! — сказал старший, вглядываясь в брата. — Пойдем на крыльцо — поговорим.

— Пойдем, пойдем. Я не хочу борщу... ешь ты, Федерсон,— сказал он товарищу.

— Да ведь ты хотел есть.

— Не хочу ничего.

Когда оии вышли иа крыльцо, меньшой все спрашнвал у брата: «Ну, что ты, как, расскажн»,— и все говорил, как ои рад его видеть, но сам ничего не рассказывал.

Когда прошло мииут пять, во время которых оии успели помолчать немного, старший брат спросил, отчего меньшой вышел не в гвардию, как этого все *наши* ожидали.

— Ах, да! — отвечал меньшой, краснея прн одном воспомииании.— Это ужасно меня убило, и я иикак ие ожидал, что это случится. Можешь себе представить, перед самым выпуском мы пошли втроем курить,— зиаешь эту комиатку, что за швейцарской, ведь и при вас, верио, так же было,— только, можешь вообразить, этот каналья сторож увидал н побежал сказать дежуриому офицеру (и ведь мы иесколько раз давалн на водку сторожу), он н подкрался; только как мы его увидали, те побросали папироски и драло в боковую дверь — а мие уж некуда, ои тут мие стал иеприятиостн говорить, разумеется, я ие спустил, ну, ои сказал иинспектору, и пошло. Вот за это-то поставили иеполные баллы в поведеиье, хотя везде были отличные, только из механики двенадцать, иу и пошло. Выпустили в армию. Потом обещали меня перевести в гвардию, да уж я ие хотел и просился иа войну.

— Вот как!

— Право, я тебе без шуток говорю, все мие так гадко стало, что я желал поскорей в Севастополь. Да, впрочем, ведь ежели здесь счастлнво пойдет, так можно еще скорее выиграть, чем в гвардии: там в десять лет в полковиики, а здесь Тотлебеи так в два года из подполковииков в геиералы. Ну, а убьют,— так что ж делать!

— Вот ты какой! — сказал брат, улыбаясь.

— А главиое, зиаешь лн что, брат,— сказал меиьшой, улыбаясь и красиея, как будто сбирался сказать что-иибудь очеиь стыдиое,— все это пустяки; главиое, я затем просился, что все-таки как-то совестио жить в Петербурге, когда тут умирают за отечество. Да и с тобой мие хотелось быть,— прибавил ои еще застенчивее.

— Какой ты смешиой! — сказал старшнй брат, доставая папиросницу и ие глядя на иего.— Жалко только, что мы не вместе будем.

— А что, скажи по правде, страшио иа бастионах? — спроснл вдруг младший.

— Сиачала страшио, потом привыкаешь — ничего. Сам увидишь.

— А вот еще что скажн: как ты думаешь, возьмут Севастополь? Я думаю, что ни за что не возьмут.

— Бог знает.

— Одио только досадно,— можешь вообразить, какое иесчастие: у нас ведь дорогой целый узел украли, а у меня в нем кивер был, так что я теперь в ужасном положении и ие зиаю, как я буду являться. Ты зиаешь, ведь у нас новые кивера теперь, да н вообще сколько перемен; все к лучшему. Я тебе все это могу рассказать... Я везде бывал в Москве.

Козельцов-второй, Владимир, был очеиь похож на брата Мнхайлу, но похож так, как похож распускающийся розан на отцветший шиповник. Волоса у иего былн те же русые, ио густые и вьющиеся иа висках; на белом иежном затылке у иего была русая косичка — признак счастня, как говорят нянюшкн. По иежному белому цвету кожн лица ие стоял, а вспыхивал, выдавая все движения души, полнокровиый молодой румянец. Те же глаза, как н у брата, былн у иего открытее и светлее, что особеиио казалось оттого, что оин часто покрывались легкой влагой. Русый пушок пробивал по щекам н иад красиыми губами, весьма часто складывавшимися в застеичивую улыбку н открывавшими белые блестящие зубы. Стройиый, широкоплечнй, в расстегнутой шиели, из-под которой виднелась красная рубашка с косым воротом, с папироской в руках, облокотившись на перила крыльца, с наивиой радостью в лице н жесте, как он стоял перед братом,— это был такой приятно-хорошенький мальчик, что все бы так и смотрели на иего. Он чрезвычайио рад был брату, с уважением и гордостью смотрел иа иего, воображая его героем; ио в иекоторых отиошеииях, имеиио в рассуждеиии вообще светского образоваиия, которого, по правде сказать, он и сам не имел, умеиия говорить по-фраицузски, быть в обществе важиых людей, таицевать и т. д.,— ои иемиожко стыдился за него, смотрел свысока и даже хотел образовать его. Все впечатлеиия его еще были из Петербурга, нз дома одиой барыии, любившей хорошеиьких и бравшей его к себе иа праздиики; и из дома сеиатора в Москве, где ои раз таицевал иа большом бале.

7

Наговорившись почти досыта и дойдя иаконец до того чувства, которое часто испытываешь, что общего мало, хотя и любишь друг друга, — братья помолчали довольио долго.

— Так берн же свон вещи и едем сейчас,— сказал старший.

Младший вдруг покраснел н замялся.

— Прямо в Севастополь ехать? — спросил ои после миниуты молчанья.

— Ну да, ведь у тебя иемиого вещей; я думаю, уложим.

— Прекрасно! сейчас и поедем,— сказал младшнй со вздохом и пошел в комиату.

Но, ие отворяя двери, он остаиовился в сеиях, печальио опустив голову, н иачал думать:

«Сейчас прямо в Севастополь, в этот ад — ужасно! Однако все равно, когда-иибудь иадо же было. Теперь, по крайией мере, с братом...»

Дело в том, что только теперь, при мысли, что, севши в тележку, он, не вылезая из нее, будет в Севастополе и что никакая случайность уже не может задержать его, ему ясно представилась опасность, которой он искал,— и он смутился, испугался одной мысли о близости ее. Кое-как успокоив себя, он вошел в комнату; но прошло четверть часа, а он все не выходил к брату, так что старший отворил наконец дверь, чтоб вызвать его. Меньшой Козельцов, в положении провинившегося школьника, говорил о чем-то с офицером из П. Когда брат отворил дверь, он совершенно растерялся.

— Сейчас, сейчас я выйду, — заговорил он, махая рукой брату. — Подожди меня, пожалуйста, там.

Через минуту он вышел действительно и с глубоким вздохом подошел к брату.

— Можешь себе представить, я не могу с тобой ехать, брат,— сказал он.

— Как? Что за вздор!

— Я тебе всю правду скажу, Миша! У нас уж ни у кого денег нет, и мы все должны этому штабс-капитану, который из П. едет. Ужасно стыдно!

Старший брат нахмурился и долго не прерывал молчанья.

— Много ты должен? — спросил он, исподлобья взглядывая на брата.

— Много... нет, не очень много; но совестно ужасно: он на трех станциях за меня платил, и сахар все его шел... так что я не знаю... да и в преферанс мы играли... я ему немножко остался должен.

— Это скверно, Володя! Ну что бы ты сделал, ежели бы меня не встретил? — сказал строго, не глядя на брата, старший.

— Да я думал, братец, что получу эти подъемные в Севастополе, так отдам. Ведь можно так сделать; да и лучше уж завтра я с ним приеду.

Старший брат достал кошелек и с некоторым дрожанием пальцев достал оттуда две десятирублевые и одну трехрублевую бумажку.

— Вот мои деньги,— сказал он.— Сколько ты должен?

Сказав, что это были все его деньги, Козельцов говорил не совсем правду: у него было еще четыре золотых, зашитых на всякий случай в обшлаге, но которые он дал себе слово ни за что не трогать.

Оказалось, что Козельцов-второй, с преферансом и сахаром, был должен только восемь рублей офицеру из П. Старший брат дал их ему, заметив только, что этак нельзя, когда денег нет, еще в преферанс играть.

— На что ж ты играл?

Младший брат не отвечал ни слова. Вопрос брата показался ему сомнением в его честности. Досада на самого себя, стыд в поступке, который мог подавать такие подозрения, и оскорбление от брата, которого он так любил, произвели в его впечатлительной натуре такое сильное, болезненное чувство, что он ничего не отвечал, чувствуя, что не в состоянии будет удержаться от слезливых звуков, которые подступали ему к горлу. Он взял не глядя деньги и пошел к товарищам.

8

Николаев, подкрепивший себя в Дуванко́й двумя крышками водки, купленными у солдата, продававшего ее на мосту, подергивал вожжами, повозочка подпрыгивала по каменной, кое-где тенистой дороге, ведущей вдоль Бельбека к Севастополю, а братья, поталкиваясь нога об ногу, хотя всякую минуту думали друг о друге, упорно молчали.

«Зачем он меня оскорбил,— думал меньшой,— разве он не мог не говорить про это? Точно как будто он думал, что я вор; да и теперь, кажется, сердится, так что мы уже навсегда расстроились. А как бы славно нам было вдвоем в Севастополе! Два брата, дружные между собой, оба сражаются со врагом: один старый уже, хотя не очень образованный, но храбрый воин, и другой — молодой, но тоже молодец... Через неделю я бы всем доказал, что я уж не очень молоденький! Я и краснеть перестану, в лице будет мужество, да и усы — небольшие, но порядочные вырастут к тому времени,— и он ущипнул себя за пушок, показавшийся у краев рта.— Может быть, мы нынче приедем и сейчас же попадем в дело вместе с братом. А он должен быть упорный и очень храбрый — такой, что много не говорит, а делает лучше других. Я б желал знать,— продолжал он,— нарочно или нет он прижимает меня к самому краю повозки? Он, верно, чувствует, что мне неловко, и делает вид, что будто не замечает меня. Вот мы нынче приедем,— продолжал он рассуждать, прижимаясь к краю повозки и боясь пошевелиться, чтобы не дать заметить брату, что ему неловко,— и вдруг прямо на бастион: я с орудиями, а брат с ротой,— и вместе пойдем. Только вдруг французы бросятся на нас. Я — стрелять, стрелять: перебью ужасно много; но они все-таки бегут прямо на меня. Уж стрелять нельзя, и — конечно, мне нет спасенья; только вдруг брат выбежит вперед с саблей, и я схвачу ружье, и мы вместе с солдатами побежим. Французы бросятся на брата. Я подбегу, убью одного француза, другого и спасаю брата. Меня ранят в одну руку, я схвачу ружье в другую и все-таки бегу; только брата убьют пулей подле меня. Я остановлюсь на минутку, посмотрю на него этак грустно, поднимусь и закричу: «За мной, отмстим! Я любил брата больше всего на свете,— я скажу,— и потерял его. Отмстим, уничтожим врагов или все умрем тут!» Все закричат, бросятся за мной. Тут все войско французское выйдет,— сам Пелиссье. Мы всех перебьем; но, наконец, меня ранят другой раз, третий раз, и я упаду при смерти. Тогда

все прибегут ко мне. Горчаков придет и будет спрашивать, чего я хочу. Я скажу, что ничего не хочу,— только чтобы меня положили рядом с братом, что я хочу умереть с ним. Меня принесут и положат подле окровавленного трупа брата. Я приподнимусь и скажу только: «Да, вы не умели ценить двух человек, которые истинно любили отечество; теперь они оба пали... да простит вам бог!» — и умру».

Кто знает, в какой мере сбудутся эти мечты!

— Что, ты был когда-нибудь в схватке? — спросил он вдруг у брата, совершенно забыв, что не хотел говорить с ним.

— Нет, ни разу,— отвечал старший,— у нас две тысячи человек из полка выбыло, всё на работах; и я ранен тоже на работе. Война совсем не так делается, как ты думаешь, Володя!

Слово «Володя» тронуло меньшого брата; ему захотелось объясниться с братом, который вовсе и не думал, что оскорбил Володю.

— Ты на меня не сердишься, Миша? — сказал он после минутного молчания.

— За что?

— Нет — так. За то, что у нас было. Так, ничего.

— Нисколько,— отвечал старший, поворачиваясь к нему и похлопывая его по ноге.

— Так ты меня извини, Миша, ежели я тебя огорчил.

И меньшой брат отвернулся, чтобы скрыть слезы, которые вдруг выступили у него из глаз.

9

— Неужели это уж Севастополь? — спросил меньшой брат, когда они поднялись на гору и перед ними открылись бухта с мачтами кораблей, море с неприятельским далеким флотом, белые приморские батареи, казармы, водопроводы, доки и строения города, и белые, лиловатые облака дыма, беспрестанно поднимавшиеся по желтым горам, окружающим город, и стоявшие в синем небе, при розоватых лучах солнца, уже с блеском отражавшегося и спускавшегося к горизонту темного моря.

Володя без малейшего содрогания увидал это страшное место, про которое он так много думал; напротив, он с эстетическим наслаждением и героическим чувством самодовольства, что вот и он через полчаса будет там, смотрел на это действительно прелестно-оригинальное зрелище, и смотрел с сосредоточенным вниманием до самого того времени, пока они не приехали на Северную, в обоз полка брата, где должны были узнать наверное о месте расположения полка и батареи.

Офицер, заведовавший обозом, жил около так называемого *нового городка* — дощатых бараков, построенных матросскими семействами, в палатке, соединенной с довольно большим балаганом, заплетенным из зеленых дубовых веток, не успевших еще совершенно засохнуть.

Братья застали офицера перед складным столом, на котором стоял стакан холодного чаю с папиросной золой и поднос с водкой и крошками сухой икры и хлеба, в одной желтовато-грязной рубашке, считающего на больших счетах огромную кипу ассигнаций. Но прежде чем говорить о личности офицера и его разговоре, необходимо попристальнее взглянуть на внутренность его балагана и знать хоть немного его образ жизни и занятия. Новый балаган был так велик, прочно заплетен и удобен, с столиками и лавочками, плетеными и из дерна,— как только строят для генералов или полковых командиров; бока и верх, чтобы лист не сыпался, были завешаны тремя коврами, хотя весьма уродливыми, но новыми и, верно, дорогими. На железной кровати, стоявшей под главным ковром с изображенной на нем амазонкой, лежало плюшевое ярко-красное одеяло, грязная прорванная кожаная подушка и енотовая шуба; на столе стояло зеркало в серебряной раме, серебряная, ужасно грязная, щетка, изломанный, набитый маслеными волосами роговой гребень, серебряный подсвечник, бутылка ликера с золотым красным огромным ярлыком, золотые часы с изображением Петра I, два золотые перстня, коробочка с какими-то капсюлями, корка хлеба, и разбросанные старые карты, и пустые и полные бутылки портера под кроватью. Офицер этот заведовал обозом полка и продовольствием лошадей. С ним вместе жил его большой приятель — комиссионер, занимающийся тоже какими-то операциями. Он, в то время как вошли братья, спал в палатке; обозный же офицер делал счеты казенных денег перед концом месяца. Наружность обозного офицера была очень красивая и воинственная: большой рост, большие усы, благородная плотность. Неприятна была в нем только какая-то потность и опухлость всего лица, скрывавшая почти маленькие серые глаза (как будто он весь был налит портером), и чрезвычайная нечистоплотность — от жидких масленых волос до больших босых ног в каких-то горностаевых туфлях.

— Денег-то, денег-то! — сказал Козельцов-первый, входя в балаган и с невольной жадностью устремляя глаза на кучу ассигнаций.— Хоть бы половину взаймы дали, Василий Михайлыч!

Обозный офицер, как будто пойманный на воровстве, весь покоробился, увидав гостя, и, собирая деньги, не поднимаясь, поклонился.

— Ох, коли бы мои были... Казенные, батюшка! А это кто с вами? — сказал он, упрятывая деньги в шкатулку, которая стояла около него, и прямо глядя на Володю.

— Это мой брат, из корпуса приехал. Да вот мы заехали узнать у вас, где полк стоит.

— Садитесь, господа,— сказал он, вставая и, не обращая внимания на гостей, уходя в

палатку.— Выпить не хотите ли? Портерку, может быть? — сказал он оттуда.

— Не мешает, Василий Михайлыч!

Володя был поражен величием обозного офицера, его небрежною манерой и уважением, с которым обращался к нему брат.

«Должно быть, это очень хороший у них офицер, которого все почитают; верно, простой, очень храбрый и гостеприимный»,— подумал он, скромно и робко садясь на диван.

— Так где же наш полк стоит? — спросил через палатку старший брат.

— Что?

Он повторил вопрос.

— Нынче у меня Зейфер был: он рассказывал, что перешли вчера на пятый бастион.

— Наверное?

— Коли я говорю, стало быть верно; а впрочем, черт его знает! Он и соврать не дорого возьмет. Что ж, будете портер пить? — сказал обозный офицер все из палатки.

— А пожалуй, выпью,— сказал Козельцов.

— А вы выпьете, Осип Игнатьич? — продолжал голос в палатке, верно, обращаясь к спавшему комиссионеру.— Полноте спать: уж осьмой час.

— Что вы пристаете ко мне! я не сплю,— отвечал ленивый тоненький голосок, приятно картавя на буквах *л* и *р*.

— Ну, вставайте: мне без вас скучно.

И обозный офицер вышел к гостям.

— Дай портеру. Симферопольского! — крикнул он.

Денщик с гордым выражением лица, как показалось Володе, вошел в балаган и из-под него, даже толкнув офицера, достал портер.

— Да, батюшка,— сказал обозный офицер, наливая стаканы,— нынче новый полковой командир у нас. Денежки нужны, всем обзаводится.

— Ну этот, я думаю, совсем особенный, новое поколенье,— сказал Козельцов, учтиво взяв стакан в руку.

— Да, новое поколенье! Такой же скряга будет. Как батальоном командовал, так кáк кричал, а теперь другое поет. Нельзя, батюшка.

— Это так.

Меньшой брат ничего не понимал, что они говорят, но ему смутно казалось, что брат говорит не то, что думает, но как будто потому только, что пьет портер этого офицера.

Бутылка портера уже была выпита, и разговор продолжался уже довольно долго в том же роде, когда полы палатки распахнулись и из нее выступил невысокий свежий мужчина в синем атласном халате с кисточками, в фуражке с красным околышем и кокардой. Он вышел, поправляя свои черные усики, и, глядя куда-то на ковер, едва заметным движением плеча ответил на поклоны офицеров.

— Дай-ка и я выпью стаканчик! — сказал он, садясь подле стола.— Что это, вы из Петербурга едете, молодой человек? — сказал он, ласково обращаясь к Володе.

— Да-с, в Севастополь еду.

— Сами просились?

— Да-с.

— И что вам за охота, господа, я не понимаю! — продолжал комиссионер.— Я бы теперь, кажется, пешком готов был уйти, ежели бы пустили, в Петербург. Опостыла, ей-богу, эта собачья жизнь!

— Чем же тут плохо вам? — сказал старший Козельцов, обращаясь к нему.— Еще вам бы не жизнь здесь!

Комиссионер посмотрел на него и отвернулся.

— Эта опасность («про какую он говорит опасность, сидя на Северной»,— подумал Козельцов), лишения, ничего достать нельзя,— продолжал он, обращаясь все к Володе.— И что вам за охота, я решительно вас не понимаю, господа! Хоть бы выгоды какие-нибудь были, а то так. Ну, хорошо ли это, в ваши лета вдруг останетесь калекой на всю жизнь?

— Кому нужны доходы, а кто из чести служит! — с досадой в голосе опять вмешался Козельцов-старший.

— Что за честь, когда нечего есть! — презрительно смеясь, сказал комиссионер, обращаясь к обозному офицеру, который тоже засмеялся при этом.— Заведи-ка из «Лучии», мы послушаем,— сказал он, указывая на коробочку с музыкой,— я люблю ее...

— Что, он хороший человек, этот Василий Михайлыч? — спросил Володя у брата, когда они уже в сумерки вышли из балагана и поехали дальше к Севастополю.

— Ничего, только скупая шельма такая, что ужас! Ведь он малым числом имеет триста рублей в месяц! А живет, как свинья, ведь ты видел. А комиссионера этого я видеть не могу, я его побью когда-нибудь. Ведь эта каналья из Турции тысяч двенадцать вывез...— И Козельцов стал распространяться о лихоимстве, немножко (сказать по правде) с той особенной злобой человека, который осуждает не за то, что лихоимство — зло, а за то, что ему досадно, что есть люди, которые пользуются им.

10

Володя не то чтоб был не в духе, когда уже почти ночью подъезжал к большому мосту через бухту, но он ощущал какую-то тяжесть на сердце. Все, что он видел и слышал, было так мало сообразно с его прошедшими недавними впечатлениями: паркетная светлая большая зала экзамена, веселые, добрые голоса и смех товарищей, новый мундир, любимый царь, которого он семь лет привык видеть и который, прощаясь с ними со слезами, называл их детьми своими,— и так мало все, что он видел, похоже на его прекрасные, радужные, великодушные мечты.

— Ну, вот мы и приехали! — сказал старший брат, когда они, подъехав к Михайлов-

ской батарее, вышли из повозки.— Ежели иас пропустят иа мосту, мы сейчас же пойдем в Николаевскне казармы. Ты там остаиься до утра, а я пойду в полк — узиаю, где твоя батарея стоит, и завтра приду за тобой.

— Зачем же? лучше вместе пойдем,— сказал Володя.— И я пойду с тобой иа бастион. Ведь уж все равно: привыкать иадо. Ежели ты пойдешь, и я могу.

— Лучше не ходить.

— Нет, пожалуйста, я, по крайией мере, узнаю, как...

— Мой совет не ходить, а пожалуй...

Небо было чисто и темно; звезды и беспрестанио движущиеся огии бомб и выстрелов уже ярко светились во мраке. Большое белое здание батареи и начало моста выдавались нз темноты. Буквальио каждую секуиду несколько орудийных выстрелов и взрывов, быстро следуя друг за другом или вместе, громче и отчетлнвее потрясали воздух. Из-за этого гула, как будто вторя ему, слышалось пасмурное ворчание бухты. С моря тянул ветерок, и пахло сыростью. Братья подошли к мосту. Какой-то ополченец стукнул неловко ружьем на руку и крикиул:

— Кто идет?

— Солдат!

— Не велено пущать!

— Да как же! Нам нужно.

— Офицера спросите.

Офицер, дремавшнй сидя на якоре, приподнялся и велел пропустить.

— Туда можно, оттуда иельзя. Куда лезешь все разом! — крикнул ои на полковые повозки, высоко иаложенные турами, которые толпились у въезда.

Спускаясь на первый понтон, братья столкиулись с солдатами, которые, громко разговаривая, шли оттуда.

— Когда он амунишные получил, зиачит, он в расчете сполностью — вот что...

— Эк, братцы! — сказал другой голос.— Как иа Сивериую перевалишь, свет увидишь, ей-богу! Совсем воздух другой.

— Говори больше! — сказал первый.— Намедиись тут же прилетела окаянная, двум матросам ноги пооборвала,— так ие говори лучше.

Братья прошли первый понтон, дожидаясь повозки, и остановились на втором, который местами уже заливало водой. Ветер, казавшийся слабым в поле, здесь был весьма силеи и порывист; мост качало, и волиы, с шумом ударяясь о бревна и разрезаясь на якорях и канатах, заливали доски. Направо тумаиновраждебио шумело и чернело море, отделяясь бескоиечно ровиой чериой лииией от звездиого, светло-сероватого в слияиии горизоита; и далеко где-то светились огни иа иеприятельском флоте; налево чернела темная масса нашего корабля и слышались удары воли о борта его; виднелся пароход, шумно и быстро двигавшийся от Севериой. Огонь разорвавшейся около иего бомбы осветил мгиовенио высоко иаваленные туры иа палубе, двух человек, стоящих иаверху, и белую пену и брызги зеленоватых воли, разрезаемых пароходом. У края моста сидел, спустив иоги в воду, какой-то человек в одной рубахе и чинил что-то в понтоне; впереди, над Севастополем, иосились те же огнн, и, громче, громче долетали страшие звуки. Набежавшая волна с моря разлилась по правой стороне моста и замочнла ноги Володе; два солдата, шлепая иогами по воде, прошли мимо иего. Что-то вдруг с треском осветило мост впереди, едущую по иему повозку и верхового, и осколки, с свистом поднимая брызги, попадали в воду.

— А, Михаил Семеныч! — сказал верховой, останавливая лошадь против старшего Козельцова,— что, уж совсем поправилнсь?

— Как видите. Куда вас бог несет?

— На Северную за патроиами: ведь я иынче за полкового адъютанта... штурма ждем с часу на час, а по пяти патронов в суме иет. Отлнчные распоряжения!

— А где же Марцов?

— Вчера иогу оторвало... в городе, в комнате спал... Может, вы его застанете, он на перевязочном пункте.

— Полк на пятом, правда?

— Да, на место М...цов заступилн. Вы зайднте на перевязочный пункт: там наши есть.— вас проводят.

— Ну, а квартерка моя на Морской цела?

— И, батюшка! уж давно всю разбнли бомбами. Вы не узиаете теперь Севастополя; уж женщии ни души нет, ни трактиров, ни музыки; вчера последиее заведенье переехало. Теперь ужасно грустно стало... Прощайте!

И офицер рысью поехал дальше.

Володе вдруг сделалось ужасно страшно: ему все казалось, что сейчас прнлетит ядро или осколок и ударнт его прямо в голову. Этот сырой мрак, все звукн эти, особенно ворчливый плеск волн,— казалось, все говорило ему, чтобы он ие шел дальше, что не ждет его здесь ничего доброго, что нога его уж никогда больше не ступит на русскую землю по эту сторону бухты, чтобы сейчас же он вериулся и бежал куда-нибудь, как можно дальше от этого страшного места смерти. «Но, может, уж поздио, уж решено теперь»,— подумал он, содрогаясь частью от этой мысли, частью оттого, что вода прошла ему сквозь сапоги и мочила ноги.

Володя глубоко вздохнул и отошел иемного в сторону от брата.

— Господи! неужели же меня убьют, имеино меня? Господи, помилуй меия! — сказал ои шепотом и перекрестился.

— Ну, пойдем, Володя,— сказал старший брат, когда повозочка въехала иа мост.— Видел бомбу?

На мосту встречались братьям повозки с раиеными, с турами, одна с мебелью, которую везла какая-то женщина. На той же стороие иикто ие задержал их.

Инстинктивно, придерживаясь стенки Николаевской батареи, братья, молча, прислушиваясь к звукам бомб, лопавшихся уже тут над головами, и реву осколков, валившихся сверху, пришли к тому месту батареи, где образ. Тут узнали они, что пятая легкая, в которую назначен был Володя, стоит на Корабельной, и решили вместе, несмотря на опасность, идти ночевать к старшему брату на пятый бастион, а оттуда завтра в батарею. Повернув в коридор, шагая через ноги спящих солдат, которые лежали вдоль всей стены батареи, они наконец пришли на перевязочный пункт.

11

Войдя в первую комнату, обставленную койками, на которых лежали раненые, и пропитанную этим тяжелым, отвратительно-ужасным гошпитальным запахом, они встретили двух сестер милосердия, выходивших им навстречу.

Одна женщина, лет пятидесяти, с черными глазами и строгим выражением лица, несла бинты и корпию и отдавала приказания молодому мальчику, фельдшеру, который шел за ней; другая, весьма хорошенькая девушка, лет двадцати, с бледным и нежным белокурым личиком, как-то особенно мило-беспомощно смотревшим из-под белого чепчика, обкладывавшего ей лицо, шла, руки в карманах передника, потупившись, подле старшей и, казалось, боялась отставать от нее.

Козельцов обратился к ним с вопросом, не знают ли они, где Марцов, которому вчера оторвало ногу.

— Это, кажется, П. полка? — спросила старшая.— Что, он вам родственник?

— Нет-с, товарищ.

— Гм! Проводите их,— сказала она молодой сестре, по-французски,— вот сюда,— а сама подошла с фельдшером к раненому.

— Пойдем же, что ты смотришь! — сказал Козельцов Володе, который, подняв брови, с каким-то страдальческим выражением, не мог оторваться — смотрел на раненых.— Пойдем же.

Володя пошел с братом, но все продолжая оглядываться и бессознательно повторяя:

— Ах, боже мой! Ах, боже мой!

— Верно, они недавно здесь? — спросила сестра у Козельцова, указывая на Володю, который, ахая и вздыхая, шел за ними по коридору.

— Только что приехал.

Хорошенькая сестра посмотрела на Володю и вдруг заплакала.

— Боже мой, боже мой! Когда это все кончится! — сказала она с отчаянием в голосе.

Они вошли в офицерскую палату. Марцов лежал навзничь, закинув жилистые, обнаженные до локтей руки за голову и с выражением на желтом лице человека, который стиснул зубы, чтобы не кричать от боли. Целая нога была в чулке высунута из-под одеяла, и видно было, как он на ней судорожно перебирает пальцами.

— Ну что, как вам? — спросила сестра, своими тоненькими, нежными пальцами, на одном из которых, Володя заметил, было золотое колечко, поднимая его немного плешивую голову и поправляя подушку.— Вот ваши товарищи пришли вас проведать.

— Разумеется, больно,— сердито сказал он.— Оставьте, мне хорошо! — И пальцы в чулке зашевелились еще быстрее.— Здравствуйте! Как вас зовут, извините? — сказал он, обращаясь к Козельцову.— Ах, да, виноват, тут все забудешь,— сказал он, когда тот сказал ему свою фамилию.— Ведь мы с тобой вместе жили,— прибавил он без всякого выражения удовольствия, вопросительно глядя на Володю.

— Это мой брат, нынче приехал из Петербурга.

— Гм! А я-то вот и *полный* выслужил,— сказал он, морщась.— Ах, как больно!.. Да уж лучше бы конец скорее.

Он вздернул ногу и, промычав что-то, закрыл лицо руками.

— Его надо оставить,— сказала шепотом сестра, со слезами на глазах,— уж он очень плох.

Братья еще на Северной решили идти вместе на пятый бастион; но, выходя из Николаевской батареи, они как будто условились не подвергаться напрасно опасности и, ничего не говоря об этом предмете, решили идти каждому порознь.

— Только как ты найдешь, Володя? — сказал старший.— Впрочем, Николаев тебя проводит на Корабельную, а я пойду один и завтра у тебя буду.

Больше ничего не было сказано в это последнее прощанье между двумя братьями.

12

Гром пушек продолжался с той же силой, но Екатерининская улица, по которой шел Володя, с следовавшим за ним молчаливым Николаевым, была пустынна и тиха. Во мраке виднелась ему только широкая улица с белыми, во многих местах разрушенными стенами больших домов и каменный тротуар, по которому он шел; изредка встречались солдаты и офицеры. Проходя по левой стороне улицы, около Адмиралтейства, при свете какого-то яркого огня, горевшего за стеной, он увидал посаженные вдоль тротуара акации с зелеными подпорками и жалкие, запыленные листья этих акаций. Шаги свои и Николаева, тяжело дышавшего, шедшего за ним, он слышал явственно. Он ничего не думал: хорошенькая сестра милосердия, нога Марцова с движущимися в чулке пальцами, мрак, бомбы и различ-

ные образы смертн смутно носнлнсь в его воображеннн. Вся его молодая впечатлнтельная душа сжалась н ныла под влияннем сознання одиночества н всеобщего равнодушня к его участн в то время, как он был в опасностн. «Убьют, буду мучиться, страдать,— и никто не заплачет!» И все это вместо нсполнеиной энергни н сочувствня жнзнн героя, о которой он мечтал так славно. Бомбы лопалнсь н свнстелн блнже н блнже, Николаев вздыхал чаще н не нарушал молчання. Проходя через мост, ведущий на Корабельную, он увндал, как что-то, свнстя, влетело недалеко от иего в бухту, иа секунду багрово осветило лнловые волны, нсчезло и потом с брызгамн поднялось оттуда.

— Вншь, не задохлась! — сказал Нннколаев.

— Да,— ответнл он, невольно н неожнданно для себя какнм-то тонеиьким-тоненькнм, писклнвым голоском.

Встречались носнлки с ранеными, опять полковые повозкн с турамн; какой-то полк встретился иа Корабельной; верховые проезжалн мнмо. Одии из иих был офицер с казаком. Он ехал рысью, ио, увндав Володю, приостановил лошадь около него, вгляделся ему в лнцо, отвернулся н поехал прочь, ударив плетью по лошади. «Одни, однн! всем все равио, есть лн я, нлн нет меня на свете»,— подумал с ужасом бедиый мальчик, н ему без шуток захотелось плакать.

Поднявшнсь на гору мнмо какой-то высокой белой стены, он вошел в улнцу разбитых малеиьких домиков, беспрестаиио освещаемых бомбамн. Пьяная, растерзанная женщнна, выходя нз калиткн с матросом, наткиулась на него.

— Потому, колн бы он был блаародный чуаек,— пробормотала оиа,— пардон, ваш благородие офицер!

Сердце все больше и больше ныло у бедного мальчика; а на черном горнзонте чаще н чаще вспыхивала молния, н бомбы чаще н чаще свистели н лопались около иего. Ннколаев глубоко вздохнул и вдруг начал говорить каким-то, как показалось Володе, гробовым голосом:

— Вот всё торопнлись нз губерннн ехать. Ехать да ехать. Есть куда торопнться! Которые умные господа, так, чуть мало-мальски ранеиы, живут себе в ошпнтале. Так-то хорошо, что лучше не надо.

— Да что ж, колн брат уж здоров теперь,— отвечал Володя, надеясь хоть разговором разогиать чувство, овладевшее нм.

— Здоров! Какое его здоровье, когда ои вовсе болеи! Которые и иастоящне здоровыето, н те, которые умиые есть, жнвут в ошпнтале в этакое время. Что тут-то радостн много, что лн? Либо иогу, лнбо руку оторвет — вот те и всё! Долго ли до греха! Уж на что здесь, в городу, не то, что на баксноие, н то страсть какая. Идешь— молнтвы все перечнтаешь. Ишь, бестия, так мнмо тебя н дзанкнет! — прнбавнл он, обращая вннманне на звук близко прожужжавшего осколка.— Вот тепернча,— продолжал Николаев,— велел ваше благороднe проводнть. Наше дело нзвестно: что приказано, то должен сполнять; а ведь главиое — повозку так иа какогото солдатншку броснли, н узел развязаи. Иди да ндн; а что нз нмеиья пропадет, Нниколаев отвечай.

Пройдя еще несколько шагов, онн вышлн иа площадь. Нниколаев молчал н вздыхал.

— Вот аитилерня ваша стоит, ваше благородне! — сказал он вдруг.— У часового спросите: он вам покажет.— И Володя, пройдя несколько шагов, перестал слышать за собой звуки вздохов Нниколаева.

Он вдруг почувствовал себя совершенно, окончательно одним. Это сознание одниочества в опасностн — перед смертью, как ему казалось,— ужасно тяжелым, холодным камием легло ему на сердце. Он остановнлся посереди площадн, оглянулся: не вндит ли его ктонибудь, схватнлся за голову н с ужасом проговорнл н подумал: «Господи! неужели я трус, подлый, гадкнй, ннчтожный трус? Неужелн за отечество, за царя, за которого с наслаждением мечтал умереть так недавно, я не могу умереть честно? Нет! я несчастное, жалкое созданне!» — И Володя с нстнинным чувством отчаяння н разочаровання в самом себе спросил у часового дом батарейного командира и пошел по указанному направлению.

13

Жнлнще батарейного командира, которое указал ему часовой, был небольшой двухэтажный домик со входом с двора. В одном нз окон, залепленном бумагой, светнлся слабый огонек свечкн. Денщик сидел на крыльце и курнл трубку. Он пошел доложнть батарейному командиру н ввел Володю в комнату. В комнате между двух окон, под разбитым зеркалом, стоял стол, заваленный казенными бумагамн, несколько стульев и железиая кровать с чнстой постелью н маленькнм ковриком около нее.

Около самой дверн стоял краснвый мужчнна с большнмн усамн — фельдфебель,— в тесаке н шннелн, на которой внселн крест н венгерская медаль. Посереднне комнаты взад н вперед ходнл невысокнй, лет сорока, штаб-офнцер с подвязанной распухшей щекой, в тонкой старенькой шннелн.

— Честь имею явнться, прнкомандированный в пятую легкую, прапорщик Козельцов-второй,— проговорил Володя заученную фразу, входя в комнату.

Батарейный командир сухо ответил на поклои н, ие подавая рукн, прнгласнл его садиться.

Володя робко опустнлся на стул подле письмениого стола и стал перебнрать в пальцах ножницы, попавшнеся ему в рукн. Бата-

рейный команднр, заложнв руки за спину и опустнв голову, только нзредка поглядывая на руки, вертевшне ножинцы, молча продолжал ходнть по комнате с вндом человека, припоминающего что-то.

Батарейный командир был довольно толстый человечек, с большою плешью на маковке, густыми усами, пущенными прямо н закрывавшимн рот, и большнмн прнятиымн каримн глазамн. Руки у иего былн краснвые, чнстые н пухлые, ножкн очеиь вывериутые, ступавшне с уверенностью и некоторым щегольством, доказывавшнм, что батарейный командир был человек незастенчнвый.

— Да,— сказал он, остаиавлнваясь против фельдфебеля,— ящнчным надо будет с завтрашнего дня еще по гарнцу прибавить, а то оин у нас худы. Как ты думаешь?

— Что ж, прнбавить можно, ваше высокоблагородне! Теперь все подешевле овес стал,— отвечал фельдфебель, шевеля пальцы на руках, которые ои держал по швам, но которые, очевндио, любнлн жестом помогать разговору.— А еще фуражнр наш Францук вчера мне нз обоза запнску прислал, ваше высокоблагородне, что осей непременно нам нужно будет там купнть,— говорят, дешевы,— так как нзволнте прнказать?

— Что ж, купнть: ведь у него деньгн есть.— И батарейный командир снова стал ходнть по комнате.— А где вашн вещн? — спроснл он вдруг у Володн, останавлнваясь протнв иего.

Бедного Володю так одолевала мысль, что он трус, что в каждом взгляде, в каждом слове он находнл презренне к себе, как к жалкому трусу. Ему показалось, что батарейный командир уже проннк его тайну н подтрунивает над ннм. Он, смутнвшнсь, отвечал, что вещи на Графской н что завтра брат обещал нх доставнть ему.

Но подполковннк не дослушал его н, обратясь к фельдфебелю, спроснл:

— Где бы нам поместнть прапорщика?

— Прапорщнка-с? — сказал фельдфебель, еще больше смущая Володю беглым, брошеиным на него взглядом, выражавшнм как будто вопрос: «Ну что это за прапорщнк, н стонт ли его помещать куда-нибудь?» — Да вот-с винзу, ваше высокоблагородне, у штабс-капнтана могут поместнться нх благородне,— продолжал он, подумав немного,— теперь штабс-капнтаи на баксноне, так нхняя койка пустая остается.

— Так вот, не угодно лн-с покамест? — сказал батарейный командир.— Вы, я думаю, усталн, а завтра лучше устроим.

Володя встал н поклоннлся.

— Не угодно ли чаю? — сказал батарейный командир, когда Володя уж подходил к двери.— Можно самовар поставить.

Володя поклонился и вышел. Полковннчий денщик провел его внна и ввел в голую, грязную комнату, в которой валялся разный хлам и стояла железная кровать без белья н одеяла. На кроватн, накрывшнсь толстой шннелью, спал какой-то человек в розовой рубашке.

Володя прннял его было за солдата.

— Петр Ннколаич! — сказал деищнк, толкая за плечо спящего. — Тут прапорщнк лягут... Это наш юнкер,— прнбавнл он, обращаясь к прапорщнку.

— Ах, не беспокойтесь, пожалуйста! — сказал Володя; но юнкер, высокий, плотиый, молодой мужчнна, с красивой, но весьма глупой фнзноиомней, встал с кровати, накинул шинель н, вндимо, не проснувшнсь еще хорошенько, вышел нз комнаты.

— Ничего, я на дворе лягу,— пробормотал он.

14

Оставшнсь наеднне с своимн мыслями, первым чувством Володи было отвращеине к тому беспорядочному, безотрадному состоянню, в котором находнлась душа его. Ему захотелось заснуть н забыть все окружающее, а главное — самого себя. Он потушил свечку, лег иа постель н, сняв с себя шниель, закрылся с головою, чтобы нзбавиться от страха темноты, которому ои еще с детства был подвержен. Но вдруг ему прншла мысль, что прилетит бомба, пробьет крышу и убьет его. Ои стал вслушнваться; над самой его головой слышалнсь шагн батарейного командира.

«Впрочем, ежели н прнлетнт, — подумал он, — то прежде убьет наверху, а потом меня; по крайней мере, ие меия одиого». Эта мысль успокоила его немного; он стал было засыпать. «Ну что, ежели вдруг ночью возьмут Севастополь н французы ворвутся сюда? Чем я буду защнщаться?» Он опять встал и походнл по комнате. Страх действительиой опасностн подавнл таннственный страх мрака. Кроме седла н самовара, в комнате ннчего твердого не было. «Я подлец, я трус, мерзкнй трус!» — вдруг подумал он н сиова перешел к тяжелому чувству презрения, отвращеиня даже к самому себе. Ои снова лег и старался не думать. Тогда впечатления дия невольио возннкали в воображении прн непрестающнх, заставлявших дрожать стекла в еднественном окие звуках бомбардировання н снова напомннали об опасности: то ему грезнлнсь раненые н кровь, то бомбы н осколкн, которые влетают в комнату, то хорошенькая сестра милосердня, делающая ему, умнрающему, перевязку н плачущая над ним, то мать его, провожающая его в уездном городе н горячо, со слезами, молящаяся перед чудотворной нконой, — н снова сон кажется ему невозможеи. Но вдруг мысль о боге всемогущем, добром, который все может сделать н услышнт всякую молнтву, ясно прншла ему в голову. Он стал на коленн, перекрестнлся и сложнл рукн так, как его в детстве еще училн молить-

ся. Этот жест вдруг перенес его к давно забытому отрадному чувству.

«Ежели нужно умереть, нужно, чтоб меня не было, сделай это, господи, — думал он, — поскорее сделай это; но ежели нужна храбрость, нужна твердость, которых у меня нет, — дай мне их, но избави от стыда и позора, которых я не могу переносить, но научи, что мне делать, чтобы исполнить твою волю».

Детская, запуганная, ограниченная душа вдруг возмужала, просветлела и увидала новые, обширные, светлые горизонты. Много еще передумал и перечувствовал он в то короткое время, пока продолжалось это чувство, но заснул скоро покойно и беспечно, под звуки продолжавшегося гула бомбардирования и дрожания стекол.

Господи великий! только ты один слышал и знаешь те простые, но жаркие и отчаянные мольбы неведения, смутного раскаяния и страдания, которые восходили к тебе из этого страшного места смерти, — от генерала, за секунду перед этим думавшего о завтраке и Георгии на шею, но с страхом чующего близость твою, до измученного, голодного, вшивого солдата, повалившегося на голом полу Николаевской батареи и просящего тебя скорее дать ему там бессознательно предчувствуемую им награду за все незаслуженные страдания! Да, ты не уставал слушать мольбы детей твоих, ниспосылаешь им везде ангела-утешителя, влагавшего в душу терпение, чувство долга и отраду надежды.

15

Старший Козельцов, встретив на улице солдата своего полка, с ним вместе направился прямо к пятому бастиону.

— Под стенкой держитесь, ваше благородие! — сказал солдат.

— А что?

— Опасно, ваше благородие; вон она аж через несеть, — сказал солдат, прислушиваясь к звуку просвистевшего ядра, ударившегося о сухую дорогу по той стороне улицы.

Козельцов, не слушая солдата, бодро пошел по середине улицы.

Все те же были улицы, те же, даже более частые, огни, звуки, стоны, встречи с ранеными и те же батареи, бруствера и траншеи, какие были весною, когда он был в Севастополе; но все это почему-то было теперь грустнее и вместе энергичнее, — пробоин в домах больше, огней в окнах уже совсем нету, исключая Кущина дома (госпиталя), женщины ни одной не встречается, — на всем лежит теперь не прежний характер привычки и беспечности, а какая-то печать тяжелого ожидания, усталости и напряженности.

Но вот уже последняя траншея, вот и голос солдатика П. полка, узнавшего своего прежнего ротного командира, вот и третий батальон стоит в темноте, прижавшись у стенки, изредка на мгновение освещаемый выстрелами и слышный сдержанным говором и побрякиванием ружей.

— Где командир полка? — спросил Козельцов.

— В блиндаже у флотских, ваше благородие! — отвечал услужливый солдатик. — Пожалуйте, я вас провожу.

Из траншеи в траншею солдат привел Козельцова к канавке в траншее. В канавке сидел матрос, покуривая трубочку; за ним виднелась дверь, в щели которой просвечивал огонь.

— Можно войти?

— Сейчас доложу. — И матрос вошел в дверь.

Два голоса говорили за дверью.

— Ежели Пруссия будет продолжать держать нейтралитет, — говорил один голос, — то Австрия тоже...

— Да что Австрия, — говорил другой, — когда славянские земли... Ну, проси.

Козельцов никогда не был в этом блиндаже. Он поразил его своей щеголеватостью. Пол был паркетный, ширмочки закрывали дверь. Две кровати стояли по стенам, в углу висела большая, в золотой ризе, икона божьей матери, и перед ней горела розовая лампадка. На одной из кроватей спал моряк, совершенно одетый, на другой, перед столом, на котором стояло две бутылки начатого вина, сидели разговаривавшие — новый полковой командир и адъютант. Хотя Козельцов далеко был не трус и решительно ни в чем не был виноват ни перед правительством, ни перед полковым командиром, он робел, и поджилки у него затряслись при виде полковника, бывшего недавнего своего товарища: так гордо встал этот полковник и выслушал его. Притом и адъютант, сидевший тут же, смущал своей позой и взглядом, говорившими: «Я только приятель вашего полкового командира. Вы не ко мне являетесь, и я от вас никакой почтительности не могу и не хочу требовать». «Странно, — думал Козельцов, глядя на своего командира, — только семь недель, как он принял полк, а как уж во всем его окружающем — в его одежде, осанке, взгляде — видна власть полкового командира, эта власть, основанная не столько на летах, на старшинстве службы, на военном достоинстве, сколько на богатстве полкового командира. Давно ли, — думал он, — этот самый Батрищев кучивал с нами, носил по неделям ситцевую немаркую рубашку и едал, никого не приглашая к себе, вечные битки и вареники! А теперь! голландская рубашка уж торчит из-под драпового с широкими рукавами сюртука, десятирублевая сигара в руке, на столе шестирублевый лафит, — все это закупленное по невероятным ценам через квартирмейстера в Симферополе, — и в глазах это выражение холодной гордости аристократа богатства, которое говорит вам: хотя я тебе и товарищ, потому что

я полковой командир новой школы, но не забывай, что у тебя шестьдесят рублей в треть жалованья, а у меня десяткн тысяч проходят через руки, н поверь, что я знаю, как ты готов бы полжизни отдать за то только, чтобы быть на моем месте».

— Вы долгонько лечились, — сказал полковник Козельцову, холодно глядя на него.

— Болен был, полковнник, еще н теперь рана хорошенько не закрылась.

— Так вы напрасно приехали, — с недоверчивым взглядом на плотную фигуру офицера сказал полковник. — Вы можете, однако, исполнять службу?

— Как же-с, могу-с.

— Ну, и очень рад-с. Так вы примите от прапорщика Зайцева девятую роту — вашу прежнюю; сейчас же вы получите приказ.

— Слушаю-с.

— Потрудитесь, когда вы пойдете, послать ко мне полкового адъютанта, — заключил полковой командир, легким поклоном давая чувствовать, что аудиенция кончеиа.

Выйдя из блиндажа, Козельцов несколько раз промычал что-то н подернул плечами, как будто ему было от чего-то больно, неловко или досадно, и досадно не на полкового командира (ие за что), а сам собой и всем окружающим он был как будто иедоволен. Дисциплина и условие ее — субординация — только приятно, как всякие обязаконенные отношения, когда она основаиа, кроме взаимного сознания в необходимости ее, на признанном со стороны ннзшего превосходства в опытиости, военном достоииство или даже просто моральном совершеистве; но зато, как скоро дисциплина основана, как у нас часто случается, на случайности или денежном принципе, — она всегда переходит, с одной стороны, в важиичество, с другой — в скрытую зависть и досаду и вместо полезного влияния соединения масс в одно целое производит совершенно противуположиое действие. Человек, не чувствующий в себе силы внутренним достоинством внушить уважение, инстинктивно боится сближения с подчиненными н старается внешними выражениями важности отдалить от себя критику. Подчиненные, видя одну эту внешнюю, оскорбительную для себя сторону, — уже за ней, большею частью несправедлнво, не предполагают ничего хорошего.

16

Козельцов, прежде чем идти к своим офицерам, пошел поздороваться с своею ротой н посмотреть, где она стонт. Бруствера нз туров, фигуры траншей, пушки, мимо которых он проходил, даже осколкн и бомбы, на которые он спотыкался по дороге, — все это, беспрестанно освещаемое огнями выстрелов, было ему хорошо знакомо. Все это жнво врезалось у него в памяти три месяца тому назад, в продолжение двух недель, которые он безвыходно провел на этом самом бастиоие. Хотя много было ужасного в этом воспоминании, какая-то прелесть прошедшего примешивалась к нему, и он с удовольствием, как будто приятны были проведенные здесь две недели, узнавал знакомые места и предметы. Рота была расположена по оборонительной стенке к шестому бастиону.

Козельцов вошел в длинный, совершенно открытый со стороны входа блиндаж, в котором, ему сказали, стоит девятая рота. Буквально ноги некуда было поставить во всем блиндаже: так он от самого входа наполнен был солдатами. В одной стороне его светилась сальная кривая свечка, которую лежа держал солдатик. Другой солдатик по складам читал какую-то киигу, держа ее около самой свечки. В смрадном полусвете блиндажа видны были поднятые головы, жадно слушающие чтеца. Книжка была азбука, и, входя в блиндаж, Козельцов услышал следующее:

— «Страх... смер-ти врожден-ное чувствие чело-веку».

— Снимите со свечки-то,— сказал голос. — Книжка славная.

— «Бог... мой...» — продолжал чтец.

Когда Козельцов спросил фельдфебеля, чтец замолк, солдаты зашевелились, закашляли, засморкались, как всегда после сдержаниого молчания; фельдфебель, застегиваясь, поднялся около группы чтеца и, шагая через ногн и по ногам тех, которым некуда было убрать их, вышел к офицеру.

— Здравствуй, брат! Что, это вся наша рота?

— Здравия желаем! с приездом, ваше благородие! — отвечал фельдфебель, весело и дружелюбно глядя на Козельцова. — Как здоровьем поправились, ваше благородие? Ну и слава богу! А то мы без вас соскучились.

Видио сейчас было, что Козельцова любили в роте. В глубине блиндажа послышались голоса: «Старый ротный приехал, что раненый был, Козельцов, Михаил Семеиыч», и т. п.; некоторые даже пододвинулись к нему, барабанщик поздоровался.

— Здравствуй, Обанчук! — сказал Козельцов. — Цел? — Здорово, ребята! — сказал он потом, возвышая голос.

— Здравня желаем! — загудело в блиндаже.

— Как поживаете, ребята?

— Плохо, ваше благородие: одолевает француз, — так дурно бьет нз-за шанцов, да и шабаш, а в поле ие выходит.

— Авось на мое счастье, бог даст, и выйдет в поле, ребята! — сказал Козельцов. — Уж мне с вамн не в первый раз: опять поколотим.

— Ради стараться, ваше благородие! — сказало несколько голосов.

— Что же, они точно смелые, их благородие ужасно какие смелые! — сказал барабан-

щик не громко, но так, что слышно было, обращаясь к другому солдату, как будто оправдываясь перед ним в словах ротного командира и убеждая его, что в них ничего нет хвастливого и неправдоподобного.

От солдатиков Козельцов перешел в оборонительную казарму к товарищам-офицерам.

17

В большой комнате казармы было пропасть народа: морские, артиллерийские и пехотные офицеры. Одни спали, другие разговаривали, сидя на каком-то ящике и лафете крепостной пушки; третьи, составляя самую большую и шумную группу за сводом, сидели на полу, на двух разостланных бурках, пили портер и играли в карты.

— А! Козельцов, Козельцов! хорошо, что приехал, молодец!.. Что рана? — послышалось с разных сторон. И здесь видно было, что его любят и рады его приезду.

Пожав руки знакомым, Козельцов присоединился к шумной группе, составившейся из нескольких офицеров, игравших в карты. Между ними были тоже его знакомые. Красивый худощавый брюнет, с длинным, сухим носом и большими усами, продолжавшимися от щек, метал банк белыми сухими пальцами, на одном из которых был большой золотой перстень с гербом. Он метал прямо и неаккуратно, видимо чем-то взволнованный и только желая казаться небрежным. Подле него, по правую руку, лежал, облокотившись, седой майор, уже значительно выпивший, и с аффектацией хладнокровия понтировал по полтинничку и тотчас же расплачивался. По левую руку на корточках сидел красный, с потным лицом, офицерик, принужденно улыбался и шутил, когда били его карты; он шевелил беспрестанно одной рукой в пустом кармане шаровар и играл большой маркой, но, очевидно, уже не на чистые, что именно и коробило красивого брюнета. По комнате, держа в руках большую кипу ассигнаций, ходил плешивый, с огромным злым ртом, худой и бледный безусый офицер и все ставил ва-банк наличные деньги и выигрывал.

Козельцов выпил водки и подсел к играющим.

— Понтирните-ка, Михаил Семеныч! — сказал ему банкомет. — Денег пропасть, я чай, привезли.

— Откуда у меня деньгам быть? Напротив, последние в городе спустил.

— Как же! вздули, уж верно, кого-нибудь в Симферополе.

— Право, мало, — сказал Козельцов, но, видимо не желая, чтоб ему верили, расстегнулся и взял в руки старые карты.

— Попытаться нешто, чем черт не шутит! и комар, бывает, что, знаете, какие штуки делает. Выпить только надо для храбрости.

И в непродолжительном времени, выпив еще три рюмки водки и несколько стаканов портера, он был уже совершенно в духе всего общества, то есть в тумане и забвении действительности, и проигрывал последние три рубля.

На маленьком вспотевшем офицере было написано сто пятьдесят рублей.

— Нет, не везет, — сказал он, небрежно приготавливая новую карту.

— Потрудитесь прислать, — сказал ему банкомет, на минуту останавливаясь метать и взглядывая на него.

— Позвольте завтра прислать, — отвечал потный офицер, вставая и усиленно перебирая рукой в пустом кармане.

— Гм! — промычал банкомет и, злостно бросая направо, налево, дометал талию. — Однако этак нельзя, — сказал он, положив карты, — я бастую. Этак нельзя, Захар Иваныч, — прибавил он, — мы играли на чистые, а не на мелок.

— Что ж, разве вы во мне сомневаетесь? Странно, право!

— С кого прикажете получить? — пробормотал майор, сильно опьяневший к этому времени и выигравший что-то рублей восемь. — Я прислал уже больше двадцати рублей, а выиграл — ничего не получаю.

— Откуда же и я заплачу, — сказал банкомет, — когда на столе денег нет?

— Я знать не хочу! — закричал майор, поднимаясь. — Я играю с вами, с честными людьми, а не с ними.

Потный офицер вдруг разгорячился:

— Я говорю, что заплачу завтра; как же вы смеете мне говорить дерзости?

— Я говорю, что хочу! Так честные люди не делают, вот что! — кричал майор.

— Полноте, Федор Федорыч! — заговорили все, удерживая майора. — Оставьте!

Но майор, казалось, только и ждал того, чтобы его просили успокоиться, для того чтобы рассвирепеть окончательно. Он вдруг вскочил и, шатаясь, направился к потному офицеру.

— Я дерзости говорю? Кто постарше вас, двадцать лет своему царю служит, — дерзости? Ах ты, мальчишка! — вдруг запищал он, все более и более воодушевляясь звуками своего голоса. — Подлец!

Но опустим скорее завесу над этой глубокогрустной сценой. Завтра, нынче же, может быть, каждый из этих людей весело и гордо пойдет навстречу смерти и умрет твердо и спокойно; но одна отрада жизни в тех ужасающих самое холодное воображение условиях отсутствия всего человеческого и безнадежности выхода из них, одна отрада есть забвение, уничтожение сознания. На дне души каждого лежит та благородная искра, которая сделает из него героя; но искра эта устает гореть ярко, — придет роковая минута, она вспыхнет пламенем и осветит великие дела.

18

На другой день бомбардирование продолжалось с тою же силою. Часов в одиннадцать утра Володя Козельцов сидел в кружке батарейных офицеров и, уже успев немного привыкнуть к ним, всматривался в новые лица, наблюдал, расспрашивал и рассказывал. Скромная, несколько притязательная на ученость беседа артиллерийских офицеров внушала ему уважение и нравилась. Стыдливая же, невинная и красивая наружность Володи располагала к нему офицеров. Старший офицер в батарее, капитан, невысокий рыжеватый мужчина с хохолком и гладенькими височками, воспитанный по старым преданиям артиллерии, дамский кавалер и будто бы ученый, расспрашивал Володю о знаниях его в артиллерии, новых изобретениях, ласково подтрунивал над его молодостью и хорошеньким личиком и вообще обращался с ним, как отец с сыном, что очень приятно было Володе. Подпоручик Дяденко, молодой офицер, говоривший хохлацким выговором, в оборванной шинели и с взъерошенными волосами, хотя и говорил весьма громко и беспрестанно ловил случаи о чем-нибудь желчно поспорить и имел резкие движения, все-таки нравился Володе, который под этой грубой внешностью не мог не видеть в нем очень хорошего и чрезвычайно доброго человека. Дяденко предлагал беспрестанно Володе свои услуги и доказывал ему, что все орудия в Севастополе поставлены не по правилам. Только поручик Черновицкий, с высоко поднятыми бровями, хотя и был учтивее всех и одет в сюртук, довольно чистый, хотя и не новый, но тщательно заплатанный, и выказывал золотую цепочку на атласном жилете, не нравился Володе. Он все расспрашивал его, что делает государь и военный министр, и рассказывал ему с ненатуральным восторгом подвиги храбрости, свершенные в Севастополе, жалел о том, как мало встречаешь патриотизма и какие делаются неблагоразумные распоряжения и т. д., вообще выказывал много знания, ума и благородных чувств; но почему-то все это казалось Володе заученным и неестественным. Главное, он замечал, что прочие офицеры почти не говорили с Черновицким. Юнкер Вланг, которого он разбудил вчера, тоже был тут. Он ничего не говорил, но, скромно сидя в уголку, смеялся, когда было что-нибудь смешное, вспоминал, когда забывали что-нибудь, подавал водку и делал папироски для всех офицеров. Скромные ли, учтивые манеры Володи, который обращался с ним так же, как с офицером, и не помыкал им, как мальчишкой, или приятная наружность пленили *Влангу*, как называли его солдаты, склоняя почему-то в женском роде его фамилию, только он не спускал своих добрых больших глупых глаз с лица нового офицера, предугадывал и предупреждал все его желания и все время находился в каком-то любовном экстазе, который, разумеется, заметили и подняли на смех офицеры.

Перед обедом сменился штабс-капитан с бастиона и присоединился к их обществу. Штабс-капитан Краут был белокурый красивый бойкий офицер с большими рыжими усами и бакенбардами; он говорил по-русски отлично, но слишком правильно и красиво для русского. В службе и в жизни он был так же, как в языке: он служил прекрасно, был отличный товарищ, самый верный человек по денежным отношениям; но просто как человек, именно оттого, что все это было слишком хорошо, — чего-то в нем недоставало. Как все русские немцы, по странной противоположности, с идеальными немецкими немцами, он был практичен в высшей степени.

— Вот он, наш герой является! — сказал капитан в то время, как Краут, размахивая руками и побрякивая шпорами, весело входил в комнату. — Чего хотите, Фридрих Крестьяныч: чаю или водки?

— Я уж приказал себе чайку поставить, — отвечал он, — а водочки покамест хватить можно для услаждения души. Очень приятно познакомиться; прошу нас любить и жаловать, — сказал он Володе, который, встав, поклонился ему, — штабс-капитан Краут. Мне на бастионе фейерверкер сказывал, что вы прибыли еще вчера.

— Очень вам благодарен за вашу постель: я ночевал на ней.

— Покойно ли вам только было? там одна ножка сломана; да все некому починить — в осадном-то положении, — ее подкладывать надо.

— Ну что, счастливо отдежурили? — спросил Дяденко.

— Да ничего, только Скворцову досталось, да лафет один вчера *починили*. Вдребезги разбили станину.

Он встал с места и начал ходить; видно было, что он весь находился под влиянием приятного чувства человека, только что вышедшего из опасности.

— Что, Дмитрий Гаврилыч, — сказал он, потрясая капитана за коленки, — как поживаете, батюшка? Что ваше представленье, молчит еще?

— Ничего еще нет.

— Да и не будет ничего, — заговорил Дяденко, — я вам доказывал это прежде.

— Отчего же не будет?

— Оттого, что не так написали реляцию.

— Ах вы, спорщик, спорщик, — сказал Краут, весело улыбаясь, — настоящий хохол неуступчивый. Ну, вот вам назло же, выйдет вам поручика.

— Нет, не выйдет.

— Вланг, принесите-ка мне мою трубочку да набейте, — обратился он к юнкеру, который тотчас же охотно побежал за трубкой.

Краут всех оживил, рассказывал про бомбардированье, расспрашивал, что без него делалось, заговаривал со всеми.

19

— Ну, как? вы уж устроились у нас? — спросил Краут у Володи. — Извините, как ваше имя и отчество? У нас, вы знаете, уж такой обычай в артиллерии. Лошадку верховую приобрели?

— Нет, — сказал Володя, — я не знаю, как быть. Я капитану говорил: у меня лошади нет, да и денег тоже нет, покуда я не получу фуражных и подъемных. Я хочу просить покамест лошади у батарейного командира, да боюсь, как бы он не отказал мне.

— Аполлон Сергеич-то? — Он произвел губами звук, выражающий сильное сомнение, и посмотрел на капитана. — Вряд!

— Что ж, откажет — не беда, — сказал капитан, — тут-то лошади, по правде, и не нужно, а все попытать можно, я спрошу нынче.

— Как! вы его не знаете, — вмешался Дяденко, — другое что откажет, а им ни за что... хотите пари?..

— Ну, да ведь уж известно, вы всегда противоречите.

— Оттого противоречу, что я знаю, он на другое скуп, а лошадь даст, потому что ему нет расчета отказать.

— Как нет расчета, когда ему здесь по восемь рублей овес обходится! — сказал Краут. — Расчет-то есть не держать лишней лошади!

— Вы просите себе Скворца, Владимир Семеныч, — сказал Вланг, вернувшийся с трубкой Краута, — отличная лошадка!

— С которой вы в Сороках в канаву упали? А? Вланга?—засмеялся штабс-капитан.

— Нет, да что же вы говорите, по восемь рублей овес, — продолжал спорить Дяденко, — когда у него справка по десять с полтиной; разумеется, не расчет.

— А еще бы у него ничего не оставалось! Небось вы будете батарейным командиром, так в город не дадите лошади съездить!

— Когда я буду батарейным командиром, у меня будут, батюшка, лошади по четыре гарнчика кушать; доходов не буду собирать, не бойтесь.

— Поживем, посмотрим, — сказал штабс-капитан. — И вы будете брать доход, и они, как будут батареей командовать, тоже будут остатки в карман класть,— прибавил он, указывая на Володю.

— Отчего же вы думаете, Фридрих Крестьяныч, что и они захотят пользоваться? — вмешался Черновицкий. — Может, у них состояние есть: так зачем же они станут пользоваться?

— Нет-с, уж я... извините меня, капитан,— покраснев до ушей, сказал Володя,— уж я это считаю неблагородно.

— Эге-ге! Какой он бедовый! — сказал Краут. — Дослужитесь до капитана, не то будете говорить.

— Да это все равно; я только думаю, что ежели не мои деньги, то я и не могу их брать.

— А я вам вот что скажу, молодой человек, — начал более серьезным тоном штабс-капитан. — Вы знаете ли, что когда вы командуете батареей, то у вас, ежели хорошо ведете дела, непременно остается в мирное время пятьсот рублей, в военное — тысяч семь, восемь, и от одних лошадей. Ну и ладно. В солдатское продовольствие батарейный командир не вмешивается: уж это так искони ведется в артиллерии; ежели вы дурной хозяин, у вас ничего не останется. Теперь вы должны издерживать, против положения, на ковку — раз (он загнул один палец), на аптеку — два (он загнул другой палец), на канцелярию — три, на подручных лошадей по пятьсот целковых платят, батюшка, а ремонтная цена пятьдесят, и требуют, — это четыре. Вы должны против положения воротники переменить солдатам, на уголь у вас много выходит, стол вы держите для офицеров. Ежели вы батарейный командир, вы должны жить прилично: вам и коляску нужно, и шубу, и всякую штуку, и другое, и третье, и десятое... да что и говорить...

— А главное, — подхватил капитан, молчавший все время, — вот что, Владимир Семеныч: вы представьте себе, что человек, как я, например, служит двадцать лет сперва на двух, а потом на трехстах рублях жалованья в нужде постоянной; так не дать ему хоть за его службу кусок хлеба под старость нажить, когда комисьонеры в неделю десятки тысяч наживают?

— Э! да что тут! — снова заговорил штабс-капитан. — Вы не торопитесь судить, а поживите-ка да послужите.

Володе ужасно стало совестно и стыдно за то, что он так необдуманно сказал, и он пробормотал что-то и молча продолжал слушать, как Дяденко с величайшим азартом принялся спорить и доказывать противное.

Спор был прерван приходом денщика полковника, который звал кушать.

— А вы нынче скажите Аполлону Сергеичу, чтоб он вина поставил, — сказал Черновицкий, застегиваясь, капитану. — И что он скупится? Убьют, так никому не достанется!

— Да вы сами скажите, — отвечал капитан.

— Нет уж, вы старший офицер: надо порядок во всем.

20

Стол был отодвинут от стены и грязной скатертью накрыт в той самой комнате, в которой вчера Володя являлся полковнику. Батарейный командир нынче подал ему руку и расспрашивал про Петербург и про дорогу.

— Ну-с, господа, кто водку пьет, мнлостн проснм! Прапорщнкн не пьют, — прнбавнл он, улыбаясь Володе.

Вообще батарейный командир казался нынче вовсе не такнм суровым, как вчера; напротнв, он нмел внд доброго, гостепрнимного хозянна н старшего товарнща. Но несмотря на то, все офнцеры, от старого капнтана до спорщнка Дяденкн, по одному тому, как онн говорнлн, учтнво глядя в глаза командиру, н как робко подходнлн друг за другом пнть водку, показывалн к нему большое уваженне.

Обед состоял нз большой мнскн щей, в которых плавалн жнрные кускн говядины н огромное колнчество перцу н лаврового листа, польскнх зразов с горчицей н колдунов с не совсем свежнм маслом. Салфеток не было, ложкн были жестяные н деревянные, стаканов было два, н на столе стоял только графнн воды, с отбнтым горлышком; но обед был не скучен: разговор не умолкал. Сначала речь шла о Инкерманском сраженнн, в котором участвовала батарея н нз которого каждый рассказывал свон впечатления н соображения о прнчинах неудачн н умолкал, когда начннал говорнть сам батарейный командир; потом разговор, естествеино, перешел к недостаточностн калнбра легкнх оруднй, к новым облегченным пушкам, прнчем Володя успел показать свон знання в артнллерии. Но на настоящем ужасном положеинн Севастополя разговор не останавливался, как будто каждый слншком много думал об этом предмете, чтоб еще говорнть о нем. Тоже об обязаниостях службы, которые должеи был иестн Володя, к его уднвлению н огорченню, совсем не было речн, как будто он прнехал в Севастополь только затем, чтобы рассказывать об облегчениых оруднях н обедать у батарейного командира. Во время обеда недалеко от дома, в котором онн сидели, упала бомба. Пол н стены задрожали, как от землетрясення, н окна застлало пороховым дымом.

— Вы этого, я думаю, в Петербурге ие вндали; а здесь часто бывают такне сюрпрнзы, — сказал батарейный комаиднр. — Посмотрнте, Вланг, где это лопнула.

Вланг посмотрел н донес, что на площадн, н о бомбе больше речн не было.

Перед самым концом обеда старнчок, батарейный пнсарь, вошел в комнату с тремя запечатаннымн конвертамн н подал нх батарейному командиру. «Вот этот *весьма нужный,* сейчас казак прнвез от начальннка артнллернн». Все офнцеры невольно с нетерпеливым ожиданнем смотрелн на опытные в этом деле пальцы батарейного командира, сламывавшие печать конверта н достававшне оттуда *весьма нужную* бумагу. «Что это могло быть?» — делал себе вопрос каждый. Могло быть совсем выступленне на отдых нз Севастополя, могло быть назначенне всей батарен на бастноны.

— Опять! — сказал батарейный командир, серднто швырнув на стол бумагу.

— Об чем, Аполлон Сергенч? — спроснл старшнй офнцер.

— Требуют офнцера с прнслугой на какую-то там мортнрную батарею. У меня н так всего четыре человека офнцеров н прнслуги полной в строй не выходит, — ворчал батарейный командир, — а тут требуют еще. Однако надо кому-ннбудь ндтн, господа, — сказал он, помолчав немного, — прнказано в семь часов быть на Рогатке... Послать фельдфебеля! Кому же ндтн, господа, решайте, — повторнл он.

— Да вот онн еще нигде не былн, — сказал Черновнцкнй, указывая на Володю.

Батарейный командир ннчего не ответил.

— Да, я бы желал, — сказал Володя, чувствуя, как холодный пот выступал у него по спнне н шее.

— Нет, зачем! — перебнл капнтан. — Разумеется, никто не откажется, но н напрашнваться не след; а колн Аполлон Сергенч предоставляет это нам, то кинуть жребий, как н тот раз делалн.

Все согласнлнсь. Краут нарезал бумажкн, скатал нх н иасыпал в фуражку. Капнтан шутил н даже решился прн этом случае попроснть вниа у полковника, для храбрости, как он сказал. Дяденко сидел мрачный. Володя улыбался чему-то, Черновнцкий уверял, что непременно ему достанется, Краут был совершенно спокоен.

Володе первому далн выбнрать. Он взял один бнлетик, который был подлиннее, ио тут же ему пришло в голову переменнть, — взял другой, поменьше н потолще, н, развернув, прочел на нем: «Идти».

— Мие, — сказал он, вздохиув.

— Ну, и с богом. Вот вы н обстреляетесь сразу, — сказал батарейный командир, с доброй улыбкой глядя на смущеиное лицо прапорщнка. — Только поскорей собнрайтесь. А чтобы вам веселей было, Вланг пойдет с вами за оруднйного фейерверкера.

21

Вланг был чрезвычайно доволен своим назначением, жнво побежал собнраться н, одетый, прншел помогать Володе н все уговарнвал его взять с собой н койку, н шубу, н старые «Отечественные запнскн», н кофейннк спнртовой, н другне ненужные вещн. Капнтан посоветовал Володе прочесть сначала по *«Руководству»* о стрельбе нз мортнр н выпнсать тотчас же оттуда таблнцу углов возвышення. Володя тотчас же прннялся за дело н, к уднвлению н радостн своей, заметнл, что хотя чувство страха опасности н, еще более того, что он будет трусом, беспоконлн его еще иемного, но далеко не в той степенн, в какой это было накануне. Отчастн прнчнной тому было влнянне дня н деятель-

ности, отчасти и главное то, что страх, как и каждое сильное чувство, не может в одной степени продолжаться долго. Одним словом, он уже успел перебояться. Часов в семь, только что солнце начинало прятаться за Николаевской казармой, фельдфебель вошел к нему и объявил, что люди готовы и дожидаются.

— Я *Вланге* список отдал. Вы у него извольте спросить, ваше благородие!—сказал он.

Человек двадцать артиллерийских солдат в тесаках без принадлежности стояли за углом дома. Володя вместе с юнкером подошел к ним. «Сказать ли им маленькую речь, или просто сказать: «Здорово, ребята!», или ничего не сказать? — подумал он. — Да и отчего ж не сказать: «Здорово, ребята!» — это должно даже». И он смело крикнул своим звучным голоском: «Здорово, ребята!» Солдаты весело отозвались: молодой, свежий голосок приятно прозвучал в ушах каждого. Володя бодро шел впереди солдат, и хотя сердце у него стучало так, как будто он пробежал во весь дух несколько верст, походка была легкая и лицо веселое. Подходя уже к самому Малахову кургану, поднимаясь на гору, он заметил, что Вланг, ни на шаг не отстававший от него и дома казавшийся таким храбрым, беспрестанно сторонился и нагибал голову, как будто все бомбы и ядра, уже очень часто свистевшие тут, летели прямо на него. Некоторые из солдатиков делали то же, и вообще на большей части их лиц выражалось ежели не боязнь, то беспокойство. Эти обстоятельства окончательно успокоили и ободрили Володю.

«Так вот я и на Малаховом кургане, который я воображал совершенно напрасно таким страшным! И я могу идти, не кланяясь ядрам, и трушу даже гораздо меньше других! Так я не трус?» — подумал он с наслаждением и даже некоторым восторгом самодовольства.

Однако это чувство бесстрашия и самодовольства было скоро поколеблено зрелищем, на которое он наткнулся в сумерках на Корниловской батарее, отыскивая начальника бастиона. Четыре человека матросов, около бруствера, за ноги и за руки держали окровавленный труп какого-то человека без сапог и шинели и раскачивали его, желая перекинуть через бруствер. (На второй день бомбардирования не успевали убирать тела на бастионах и выкидывали их в ров, чтобы они не мешали на батареях.) Володя с минуту остолбенел, увидав, как труп ударился на вершину бруствера и потом медленно скатился оттуда в канаву; но, на его счастье, тут же начальник бастиона встретился ему, отдал приказания и дал проводника на батарею и в блиндаж, назначенный для прислуги. Не буду рассказывать, сколько еще ужасов, опасностей и разочарований испытал наш герой в этот вечер; как вместо такой стрельбы, которую он видел на Волковом поле, при всех условиях точности и порядка, которые он надеялся найти здесь, он нашел две разбитые мортирки без прицелов, из которых одна была смята ядром в дуле, а другая стояла на щепках разбитой платформы; как он не мог до утра добиться рабочих, чтоб починить платформу; как ни один заряд не был того веса, который означен был в «Руководстве»; как ранили двух солдат его *команды* и как двадцать раз он был на волоске от смерти. По счастию, в помощь ему назначен был огромного роста комендор, моряк, с начала осады бывший при мортирах и убедивший его в возможности еще действовать из них, с фонарем водивший его ночью по всему бастиону, точно как по своему огороду, и обещавший к завтраму все устроить. Блиндаж, к которому провел его проводник, была вырытая в каменном грунте, в две кубические сажени продолговатая яма, накрытая аршинными дубовыми бревнами. В ней-то он поместился со всеми своими солдатами. Вланг, первый, как только увидал в аршин низенькую дверь блиндажа, опрометью, прежде всех, вбежал в нее и, чуть не разбившись о каменный пол, забился в угол, из которого уже не выходил больше. Володя же, когда все солдаты поместились вдоль стен на полу и некоторые закурили трубочки, разбил свою кровать в углу, зажег свечку и, закурив папироску, лег на койку. Над блиндажом слышались беспрестанные выстрелы, но не слишком громко, исключая одной пушки, стоявшей рядом и потрясавшей блиндаж так сильно, что с потолка земля сыпалась. В самом блиндаже было тихо: только солдаты, еще дичась нового офицера, изредка переговаривались, прося один другого посторониться или огню — трубочку закурить; крыса скреблась где-то между камнями, или Вланг, не пришедший еще в себя и дико смотревший кругом, вздыхал вдруг громким вздохом. Володя на своей кровати, в набитом народом уголке, освещенном одной свечкой, испытывал то чувство уютности, которое было у него, когда ребенком, играя в прятки, бывало, он залезал в шкаф или под юбку матери и, не переводя дыхания, слушал, боялся мрака и вместе наслаждался чем-то. Ему было и жутко немножко и весело.

22

Минут через десять солдатики поосмелились и поразговорились. Поближе к огню и кровати офицера расположились люди позначительнее — два фейерверкера: один — седой, старый, со всеми медалями и крестами, исключая Георгиевского; другой — молодой, из кантонистов, куривший верченые папироски. Барабанщик, как и всегда, взял на себя обязанность прислуживать офицеру. Бомбардиры и кавалеры сидели поближе, а уж там, в тени около входа, поместились

покорные. Между ними-то и начался разговор. Поводом к нему был шум быстро ввалившегося в блиндаж человека.

— Что, брат, на улице не посидел? али не весело девки играют? — сказал один голос.

— Такие песни играют чудны́е, что в деревне никогда не слыхивали, — сказал, смеясь, тот, который вбежал в блиндаж.

— А не любит Васин бомбов, ох, не любит! — сказал один из аристократического угла.

— Что ж! когда нужно, совсем другая статья! — сказал медленный голос Васина, который когда говорил, то все другие замолкали. — Двадцать четвертого числа так палили по крайности; а то что ж дурно-то на говне убьет, и начальство за это нашему брату спасибо не говорит.

— Вот Мельников — тот небось все на дворе сидит, — сказал кто-то.

— А пошлите его сюда, Мельникова-то, — прибавил старый фейерверкер, — и в самом деле убьет так, понапрасну.

— Что это за Мельников? — спросил Володя.

— А такой у нас, ваше благородие, глупый солдатик есть. Он ничего как есть не боится и теперь все на дворе ходит. Вы его извольте посмотреть: он и из себя-то на *ведмедя* похож.

— Он заговор знает, — сказал медлительный голос Васина из другого угла.

Мельников вошел в блиндаж. Это был толстый (что чрезвычайная редкость между солдатами), рыжий, красный мужчина, с огромным выпуклым лбом и выпуклыми ясноголубыми глазами.

— Что, ты не боишься бомб? — спросил его Володя.

— Чего бояться бомбов-то! — отвечал Мельников, пожимаясь и почесываясь, — меня из бомбы не убьют, я знаю.

— Так ты бы захотел тут жить?

— А известно, захотел бы. Тут весело! — сказал он, вдруг расхохотавшись.

— О, так тебя надо на вылазку взять! Хочешь, я скажу генералу? — сказал Володя, хотя он не знал здесь ни одного генерала.

— А как не хотеть! Хочу!

И Мельников спрятался за других.

— Давайте в носки, ребята! У кого карты есть? — послышался его торопливый голос.

Действительно, скоро в заднем углу завязалась игра — слышались удары по носу, смех и козырянье. Володя напился чаю из самовара, который наставил ему барабанщик, угощал фейерверкеров, шутил, заговаривал с ними, желая заслужить популярность и очень довольный тем уважением, которое ему оказывали. Солдатики тоже, заметив, что барин *про́стый*, поразговорились. Один рассказывал, как скоро должно кончиться осадное положение в Севастополе, что ему верный флотский человек рассказывал, как Кистентин, царев брат, с мериканским флотом идет нам на выручку, еще — как скоро уговор будет, чтобы не палить две недели и отдых дать, а коли кто выпалит, то за каждый выстрел семьдесят пять копеек штрафу платить будут.

Васин, который, как успел рассмотреть Володя, был маленький, с большими добрыми глазами, бакенбардист, рассказал при общем сначала молчании, а потом хохоте, как, приехав в отпуск, сначала ему были рады, а потом отец стал его посылать на работу, а за женой лесничий поручик дрожки присылал. Все это чрезвычайно забавляло Володю. Он не только не чувствовал ни малейшего страха или неудовольствия от тесноты и тяжелого запаха в блиндаже, но ему чрезвычайно весело и приятно было.

Уже многие солдаты храпели. Вланг тоже растянулся на полу, и старый фейерверкер, расстелив шинель, крестясь, бормотал молитвы перед сном, когда Володе захотелось выйти из блиндажа — посмотреть, что на дворе делается.

— Подбирай ноги! — закричали друг другу солдаты, только что он встал; и ноги, поджимаясь, дали ему дорогу.

Вланг, казавшийся спящим, вдруг поднял голову и схватил за полу шинели Володю.

— Ну полноте, не ходите, как можно! — заговорил он слезливо-убедительным тоном. — Ведь вы еще не знаете; там беспрестанно падают ядра; лучше здесь...

Но, несмотря на просьбы Вланга, Володя выбрался из блиндажа и сел на пороге, на котором уже сидел, переобуваясь, Мельников.

Воздух был чистый и свежий — особенно после блиндажа; ночь была ясная и тихая. За гулом выстрелов слышался звук колес телег, привозивших туры, и говор людей, работающих на пороховом погребе. Над головами стояло высокое звездное небо, по которому беспрестанно пробегали огненные полосы бомб; налево, в аршине, маленькое отверстие вело в другой блиндаж, в которое виднелись ноги и спины матросов, живших там, и слышались пьяные голоса их; впереди виделось возвышение порохового погреба, мимо которого мелькали фигуры согнувшихся людей и на котором, на самом верху, под пулями и бомбами, которые беспрестанно свистели в этом месте, стояла какая-то высокая фигура в черном пальто, с руками в карманах, и ногами притаптывала землю, которую мешками носили туда другие люди. Часто бомба пролетала и рвалась весьма близко от погреба. Солдаты, носившие землю, пригибались, сторонились; черная же фигура не двигалась, спокойно утаптывая землю ногами, и все в том же положении оставалась на месте.

— Кто этот черный? — спросил Володя у Мельникова.

— Не могу знать; пойду посмотрю.

— Не ходи, не нужно.

Но Мельников, не слушая, встал, подошел к черному человеку и весьма долго, так же равнодушно и недвижно, стоял около него.

— Это погребной, ваше благородие, — сказал он, возвратившись, — погребок пробило бомбой, так пехотные землю носют.

Изредка бомбы летели прямо, казалось, к двери блиндажа.

Тогда Володя прятался за угол и снова высовывался, глядя наверх, не летит ли еще сюда. Хотя Вланг несколько раз из блиндажа умолял Володю вернуться, он часа три просидел на пороге, находя какое-то удовольствие в испытывании судьбы и наблюдении за полетом бомб. Под конец вечера уж он знал, откуда сколько стреляет орудий и куда ложатся их снаряды.

23

На другой день, 27-го числа, после десятичасового сна, Володя, свежий, бодрый, рано утром вышел на порог блиндажа. Вланг тоже было вылез вместе с ним, но при первом звуке пули стремглав, пробивая себе головой дорогу, кубарем бросился назад в отверстие блиндажа, при общем хохоте тоже большей частью повышедших на воздух солдатиков. Только Васин, старик фейерверкер и несколько других выходили редко в траншею; остальных нельзя было удержать: все повысыпали на свежий утренний воздух из смрадного блиндажа и, несмотря на столь же сильное, как и накануне, бомбардированье, расположились кто около порога, кто под бруствером. Мельников уже с самой зорьки прогуливался по батареям, равнодушно поглядывая вверх.

Около порога сидели два старых и один молодой курчавый солдат, из жидов по наружности. Солдат этот, подняв одну из валявшихся пуль и черепком расплюснув ее о камень, ножом вырезал из нее крест на манер Георгиевского; другие, разговаривая, смотрели на его работу. Крест действительно выходил очень красив.

— А что, как еще постоим здесь сколько-нибудь, — говорил один из них, — так по замиренье всем в отставку срок выйдет.

— Как же! мне и то всего четыре года до отставки оставалось, а теперь пять месяцев простоял в Сивастополе.

— К отставке не считается, слышь, — сказал другой.

В это время ядро просвистело над головами говоривших и в аршине ударилось от Мельникова, подходившего к ним по траншее.

— Чуть не убило Мельникова, — сказал один.

— Не убьет, — отвечал Мельников.

— Вот на же тебе хрест за храбрость, — сказал молодой солдат, делавший крест и отдавая его Мельникову.

— Нет, брат, тут, значит, месяц за год ко всему считается — на то приказ был, — продолжался разговор.

— Как ни суди, беспременно по замирении исделают смотр царский в *Аршаве*, и коли не отставка, так в бессрочные выпустят.

В это время визгливая, зацепившаяся пулька пролетела над самыми головами разговаривающих и ударилась о камень.

— Смотри, еще до вечера *вчистую* выйдешь, — сказал один из солдат.

И все засмеялись.

И не только до вечера, но через два часа уже двое из них получили чистую, а пять были ранены; но остальные шутили точно так же.

Действительно, к утру две мортирки были приведены в такое положение, что можно было стрелять из них. Часу в десятом, по полученному приказанию от начальника бастиона, Володя вызвал свою команду и с ней вместе пошел на батарею.

В людях незаметно было и капли того чувства боязни, которое выражалось вчера, как скоро они принялись за дело. Только Вланг не мог преодолеть себя: прятался и гнулся все так же, и Васин потерял несколько свое спокойствие, суетился и приседал беспрестанно. Володя же был в чрезвычайном восторге: ему не приходила и мысль об опасности. Радость, что он исполняет хорошо свою обязанность, что он не только не трус, но даже храбр, чувство командования и присутствия двадцати человек, которые, он знал, с любопытством смотрели на него, сделали из него совершенного молодца. Он даже тщеславился своей храбростью, франтил перед солдатами, вылезал на банкет и нарочно расстегнул шинель, чтобы его заметнее было. Начальник бастиона, обходивший в это время *свое хозяйство*, по его выражению, как он ни привык в восемь месяцев ко всяким родам храбрости, не мог не полюбоваться на этого хорошенького мальчика в расстегнутой шинели, из-под которой видна красная рубашка, обхватывающая белую нежную шею, с разгоревшимся лицом и глазами, похлопывающего руками и звонким голоском командующего: «Первое, второе!» — и весело взбегающего на бруствер, чтобы посмотреть, куда падает его бомба. В половине двенадцатого стрельба с обеих сторон затихла, а ровно в двенадцать часов начался штурм Малахова кургана, второго, третьего и пятого бастионов.

24

По сю сторону бухты, между Инкерманом и Северным укреплением, на холме телеграфа, около полудня стояли два моряка, один — офицер, смотревший в трубу на Севастополь, и другой, вместе с казаком только что подъехавший к большой вехе.

Солнце светло и высоко стояло над бухтой, игравшею с своими стоящими кораблями и движущимися парусами и лодками веселым и теплым блеском. Легкий ветерок едва шевелил листья засыхающих дубовых кустов около телеграфа, надувал паруса лодок и колыхал волны. Севастополь, все тот же, с своей недостроенной церковью, колонной, набережной, зеленеющим на горе бульваром и изящным строением библиотеки, с своими маленькими лазуревыми бухточками, наполненными мачтами, живописными арками водопроводов и с облаками синего порохового дыма, освещаемыми иногда багровым пламенем выстрелов; все тот же красивый, праздничный, гордый Севастополь, окруженный с одной стороны желтыми дымящимися горами, с другой — ярко-синим, играющим на солнце морем, виднелся на той стороне бухты. Над горизонтом моря, по которому дымилась полоса черного дыма какого-то парохода, ползли длинные белые облака, обещая ветер. По всей линии укреплений, особенно по горам левой стороны, по нескольку вдруг, беспрестанно, с молнией, блестевшей иногда даже в полуденном свете, рождались клубки густого, сжатого белого дыма, разрастались, принимая различные формы, поднимались и темнее окрашивались в небе. Дымки эти, мелькая то там, то здесь, рождались по горам, на батареях неприятельских, и в городе, и высоко на небе. Звуки взрывов не умолкали и, переливаясь, потрясали воздух...

К двенадцати часам дымки стали показываться реже и реже, воздух меньше колебался от гула.

— Однако второй бастион уже совсем не отвечает, — сказал гусарский офицер, сидевший верхом, — весь разбит! Ужасно!

— Да и Малахов нешто на три их выстрела посылает один, — отвечал тот, который смотрел в трубу. — Это меня бесит, что они молчат. Вот опять прямо в Корниловскую попала, а она ничего не отвечает.

— А посмотри, к двенадцати часам, я говорил, они всегда перестают бомбардировать. Вот и нынче так же. Поедем лучше завтракать... нас ждут уже теперь... нечего смотреть.

— Постой, не мешай! — отвечал смотревший в трубу, с особенной жадностью глядя на Севастополь.

— Что там? что?

— Движение в траншеях, густые колонны идут.

— Да и так видно, — сказал моряк, — идут колоннами. Надо дать сигнал.

— Смотри, смотри! вышли из траншеи.

Действительно, простым глазом видно было, как будто темные пятна двигались с горы через балку от французских батарей к бастионам. Впереди этих пятен видны были темные полосы уже около нашей линии. На бастионах вспыхнули в разных местах, как бы перебегая, белые дымки выстрелов. Ветер донес звуки ружейной, частой, как дождь бьет по окнам, перестрелки. Черные полосы двигались в самом дыму, ближе и ближе. Звуки стрельбы, усиливаясь и усиливаясь, слились в продолжительный перекатывающийся грохот. Дым, поднимаясь чаще и чаще, расходился быстро по линии и слился, наконец, весь в одно лиловатое, свивающееся и развивающееся облако, в котором кое-где едва мелькали огни и черные точки — все звуки соединились в один перекатывающийся треск.

— Штурм! — сказал офицер с бледным лицом, отдавая трубку моряку.

Казаки проскакали по дороге, офицеры верхами, главнокомандующий в коляске и со свитой проехал мимо. На каждом лице видны были тяжелое волнение и ожидание чего-то ужасного.

— Не может быть, чтобы взяли! — сказал офицер на лошади.

— Ей-богу, знамя! посмотри! посмотри! — сказал другой, задыхаясь, отходя от трубы, — французское на Малаховом!

— Не может быть!

25

Козельцов-старший, успевший отыграться в ночь и снова спустить все, даже золотые, зашитые в обшлаге, перед утром спал еще нездоровым, тяжелым, но крепким сном, в оборонительной казарме пятого бастиона, когда, повторяемый различными голосами, раздался роковой крик:

— Тревога!..

— Что вы спите, Михайло Семеныч! Штурм! — крикнул ему чей-то голос.

— Верно, школьник какой-нибудь, — сказал он, открывая глаза и не веря еще.

Но вдруг он увидел одного офицера, бегающего без всякой видимой цели из угла в угол, с таким бледным, испуганным лицом, что он все понял. Мысль, что его могут принять за труса, не хотевшего выйти к роте в критическую минуту, поразила его ужасно. Он во весь дух побежал к роте. Стрельба орудийная кончилась; но трескотня ружей была во всем разгаре. Пули свистели не по одной, как штуцерные, а роями, как стадо осенних птичек пролетает над головами. Все то место, на котором стоял вчера его батальон, было застлано дымом, были слышны недружные крики и возгласы. Солдаты, раненые и нераненые, толпами попадались ему навстречу. Пробежав еще шагов тридцать, он увидал свою роту, прижавшуюся к стенке, и лицо одного из своих солдат, но бледное-бледное, испуганное. Другие лица были такие же.

Чувство страха невольно сообщилось и Козельцову: мороз пробежал ему по коже.

— Заняли Шварца, — сказал молодой офицер, у которого зубы щелкали друг о друга. — Все пропало!

— Вздор, — сказал сердито Козельцов и, желая возбудить себя жестом, выхватил свою маленькую железную тупую сабельку и закричал: — Вперед, ребята! Ура-а!

Голос был звучный и громкий; он возбудил самого Козельцова. Он побежал вперед вдоль траверса; человек пятьдесят солдат с криками побежало за ним. Когда они выбежали из-за траверса на открытую площадку, пули посыпались буквально как град; две ударились в него, но куда и что они сделали — контузили, ранили его, он не имел времени решить. Впереди, в дыму, видны были ему уже синие мундиры, красные панталоны и слышны нерусские крики; один француз стоял на бруствере, махал шапкой и кричал что-то. Козельцов был уверен, что его убьют; это-то и придавало ему храбрости. Он бежал вперед и вперед. Несколько солдат обогнали его; другие солдаты показались откуда-то сбоку и бежали тоже. Синие мундиры оставались в том же расстоянии, убегая от него назад к своим траншеям, но под ногами попадались раненые и убитые. Добежав уже до внешнего рва, все смешались в глазах Козельцова, и он почувствовал боль в груди и, сев на банкет, с огромным наслаждением увидал в амбразуру, как толпы синих мундиров в беспорядке бежали к своим траншеям и как по всему полю лежали убитые и ползали раненые в красных штанах и синих мундирах.

Через полчаса он лежал на носилках, около Николаевской казармы, и знал, что он ранен, но боли почти не чувствовал; ему хотелось только напиться чего-нибудь холодного и лечь попокойнее.

Маленький, толстый, с большими черными бакенбардами доктор подошел к нему и расстегнул шинель. Козельцов через подбородок смотрел на то, что делает доктор с его раной, и на лицо доктора, но боли никакой не чувствовал. Доктор закрыл рану рубашкой, отер пальцы о полы пальто и молча, не глядя на раненого, отошел к другому. Козельцов бессознательно следил глазами за тем, что делалось перед ним. Вспомнив то, что было на пятом бастионе, он с чрезвычайно отрадным чувством самодовольства подумал, что он хорошо исполнил свой долг, что в первый раз за всю свою службу он поступил так хорошо, как только можно было, и ни в чем не может упрекнуть себя. Доктор, перевязывая другого раненого офицера, сказал что-то, указывая на Козельцова священнику с большой рыжей бородой, с крестом стоявшему тут.

— Что, я умру? — спросил Козельцов у священника, когда он подошел к нему.

Священник, не отвечая, прочел молитву и подал крест раненому.

Смерть не испугала Козельцова. Он взял слабыми руками крест, прижал его к губам и заплакал.

— Что, выбиты французы везде? — спросил он у священника.

— Везде победа за нами осталась, — отвечал священник, говоривший на *о*, скрывая от раненого, чтобы не огорчить его, то, что на Малаховом кургане уже развевалось французское знамя.

— Слава богу, слава богу, — проговорил раненый, не чувствуя, как слезы текли по его щекам, и испытывая невыразимый восторг сознания того, что он сделал геройское дело.

Мысль о брате мелькнула на мгновенье в его голове: «Дай бог ему такого же счастия», — подумал он.

26

Но не такая участь ожидала Володю. Он слушал сказку, которую рассказывал ему Васин, когда закричали: «Французы идут!» Кровь прилила мгновенно к сердцу Володи, и он почувствовал, как похолодели и побледнели его щеки. С секунду он оставался недвижим; но, взглянув кругом, он увидел, что солдаты довольно спокойно застегивали шинели и вылезали один за другим; один даже — кажется, Мельников — шутливо сказал:

— Выходи с хлебом-солью, ребята!

Володя вместе с *Влангой*, который ни на шаг не отставал от него, вылез из блиндажа и побежал на батарею. Артиллерийской стрельбы ни с той, ни с другой стороны совершенно не было. Не столько вид спокойствия солдат, сколько жалкой, нескрываемой трусости юнкера возбудил его. «Неужели я могу быть похож на него?» — подумал он и весело подбежал к брустверу, около которого стояли его мортирки. Ему ясно видно было, как французы бежали к бастиону по чистому полю и как толпы их с блестящими на солнце штыками шевелились в ближайших траншеях. Один, маленький, широкоплечий, в зуавском мундире, с шпагой в руке, бежал впереди и перепрыгивал через ямы. «Стрелять картечью!» — крикнул Володя, сбегая с банкета; но уже солдаты распорядились без него, и металлический звук выпущенной картечи просвистел над его головой, сначала из одной, потом из другой мортиры. «Первое! второе!» — командовал Володя, перебегая в дыму от одной мортиры к другой и совершенно забыв об опасности. Сбоку слышалась близкая трескотня ружей нашего прикрытия и суетливые крики.

Вдруг поразительный крик отчаяния, повторенный несколькими голосами, послышался слева: «Обходят! Обходят!» Володя оглянулся на крик. Человек двадцать французов показались сзади. Один из них, с черной бородой, в красной феске, красивый мужчина, был впереди всех, но, добежав шагов на десять до батареи, остановился и выстрелил и потом снова побежал вперед. С секунду Володя стоял как окаменелый и не верил глазам

своим. Когда он опоминлся н оглянулся, впереди его были иа бруствере снние мундиры и даже однн, спустнвшнсь, заклепывал пушку. Кругом него, кроме Мельннкова, убнтого пулею подле иего, н Вланга, схватнвшего вдруг в руку хандшпуг и с яростным выражеинем лнца и опущенными зрачкамн броснвшегося вперед, никого ие было. «За мной, Владнмир Семеныч! За мной! Пропалн!» — кричал отчаянный голос Вланга, хаидшпугом махавшего иа французов, зашедшнх сзади. Яростная фнгура юнкера озадачнла нх. Одного, переднего, он ударил по голове, другне невольно прностановнлнсь, н Вланг, продолжая оглядываться н отчаяиио крнчать: «За мной, Владнмир Семеныч! Что вы стоите! Бегнте!» — подбежал к траншее, в которой лежала наша пехота, стреляя по французам. Вскочнвшн в траншею, он сиова высунулся нз иее, чтобы посмотреть, что делает его обожаемый прапорщик. Что-то в шннели ннчком лежало на том месте, где стоял Володя, н все это пространство было уже занято французами, стрелявшими в наших.

27

Вланг нашел свою батарею на второй оборонnтельной линнн. Из чнсла двадцатн солдат, бывшнх иа мортирной батарее, спаслось только восемь.

В девятом часу вечера Вланг с батареей на пароходе, наполненном солдатами, пушкамн, лошадьмн н раненымн, переправлялся на Северную. Выстрелов нигде не было. Звезды, так же как и прошлую ночь, ярко блестелн на небе; но сильный ветер колыхал море. На первом н втором бастионе вспыхивали по земле молннн; взрывы потрясалн воздух н освещалн вокруг себя какне-то черные страиные предметы н камии, взлетавшие на воздух. Что-то горело около доков, и красное пламя отражалось в воде. Мост, иаполненный народом, освещался огием с Нnколаевской батарен. Большое пламя стояло, казалось, над водой на далеком мыске Александровской батарен и освещало ннз облака дыма, стоявшего над инм, и те же, как и вчера, спокойные, дерзкне огни блестели в море иа далеком непрнятельском флоте. Свежий ветер колыхал бухту. Прн свете зарева пожаров вндны былн мачты иашнх утопающих кораблей, которые медленно, глубже н глубже уходнлн в воду. Говору не слышно было на палубе; нз-за равиомерного звука разрезаемых волн н пара слышно было, как лошадн фыркали н топалн ногамн на шаланде, слышны были командные слова капнтаиа н стоны раненых. Вланг, не евшнй целый день, достал кусок хлеба нз кармана н иачал жевать, но вдруг, вспомннв о Володе, заплакал так громко, что солдаты, бывшие подле него, услыхали.

— Вишь, сам хлеб ест, а сам плачет, *Вланга*-то иаш, — сказал Васин.

— Чудно! — сказал другой.

— Вншь, н нашн казармы позажгли, — продолжал он, вздыхая, — и сколько там нашего брата пропало; а нн за что французу досталось!

— По крайности, самн жнвые вышлн, н то слава тн господн, — сказал Васин.

— А все обндио!

— Да что обндно-то? Разве он тут разгуляется? Как же! Гляди, наши опять отберут. Уж сколько б нашего брата нн пропало, а, как бог свят, велит амператор — н отберут! Разве нашн так оставят ему? Как же! На вот тебе голые стены, а шанцы-то все повзорвали. Небось свой значок на кургане поставнл, а в город не суется. Погодн, еще расчет будет с тобой настоящнй — дай срок, — заключнл он, обращаясь к французам.

— Известно, будет! — сказал другой с убежденнем.

По всей лнннн севастопольскнх бастионов, столько месяцев кипевшнх необыкиовенной энергнческой жнзиью, столько месяцев вндевшнх сменяемых смертью одннх за другимн умнрающих героев и столько месяцев возбуждавших страх, иенавнсть н, накоиец, восхищенне врагов, — на севастопольских бастнонах уже ннгде ннкого не было. Все было мертво, днко, ужасно — но не тихо: все еще разрушалось. По изрытой свежнмн взрывамн, обсыпавшейся земле везде валялнсь нсковеркаииые лафеты, придавившие человеческие русскне н вражескне трупы, тяжелые, замолкнувшне навсегда чугунные пушкн, страшиой снлой сброшениые в ямы н до половины засыпанные землей, бомбы, ядра, опять трупы, ямы, осколкн бревен, блнидажей и опять молчаливые трупы в серых и синих шинелях. Все это часто содрогалось еще и освещалось багровым пламеием взрывов, продолжавших потрясать воздух.

Врагн вндели, что что-то непонятное творнлось в грозном Севастополе. Взрывы этн и мертвое молчанне на бастионах заставляли нх содрогаться; ио оин не смели верить еще под влняннем сильного, спокойиого отпора дня, чтоб нсчез нх непоколебнмый враг, н молча, не шевелясь, с трепетом ожидали конца мрачной ночн.

Севастопольское войско, как море в зыбливую мрачную иочь, слнваясь, развнваясь и тревожно трепеща всей своей массой, колыхаясь у бухты по мосту н иа Северной, медленно двнгалось в непроинцаемой темноте прочь от места, на котором столько оно оставнло храбрых братьев, — от места, всего облнтого его кровью; от места, одинадцать месяцев отстанваемого от вдвое снльиейшего врага, н которое теперь велено было оставить без боя.

Непонятно тяжело было для каждого русского первое впечатлеине этого прнказания. Второе чувство было страх преследоваиия. Люди чувствовали себя беззащитиымн, как только оставили те места, на которых привыкли драться, н тревожно толпилнсь во мраке

у входа моста, который качал сильный ветер. Сталкиваясь штыками и толпясь полками, экипажами и ополчениями, жалась пехота, проталкивались конные офицеры с приказаниями, плакали и умоляли жители и денщики с кладью, которую не пропускали; шумя колесами, пробивалась к бухте артиллерия, торопившаяся убираться. Несмотря на увлечение разнородными суетливыми занятиями, чувство самосохранения и желания выбраться как можно скорее из этого страшного места смерти присутствовало в душе каждого. Это чувство было и у смертельно раненного солдата, лежащего между пятьюстами такими же ранеными на каменном полу Павловской набережной и просящего бога о смерти, и у ополченца, из последних сил втиснувшегося в плотную толпу, чтобы дать дорогу верхом проезжающему генералу, и у генерала, твердо распоряжающегося переправой и удерживающего торопливость солдат, и у матроса, попавшего в движущийся батальон, до лишения дыхания сдавленного колеблющейся толпой, и у раненого офицера, которого на носилках несли четыре солдата и, остановленные спершимся народом, положили наземь у Николаевской батареи, и у артиллериста, шестнадцать лет служившего при своем орудии и, по непонятному для него приказанию начальства, сталкивающего орудие с помощью товарищей с крутого берега в бухту, и у флотских, только что выбивших закладки в кораблях и, бойко гребя, на баркасах отплывающих от них. Выходя на ту сторону моста, почти каждый солдат снимал шапку и крестился. Но за этим чувством было другое, тяжелое, сосущее и более глубокое чувство: это было чувство, как будто похожее на раскаяние, стыд и злобу. Почти каждый солдат, взглянув с Северной стороны на оставленный Севастополь, с невыразимою горечью в сердце вздыхал и грозился врагам.

27 декабря. Петербург. 1856

ДВА ГУСАРА

Повесть

Посвящается графине М. Н. Толстой

...Жомини да Жомини,
А об водке ни полслова...

Д. Давыдов

В 1800-х годах, в те времена, когда не было еще ни железных, ни шоссейных дорог, ни газового, ни стеаринового света, ни пружинных низких диванов, ни мебели без лаку, ни разочарованных юношей со стеклышками, ни либеральных философов-женщин, ни милых дам-камелий, которых так много развелось в наше время,— в те наивные времена, когда из Москвы, выезжая в Петербург в повозке или карете, брали с собой целую кухню домашнего приготовления, ехали восемь суток по мягкой пыльной или грязной дороге и верили в пожарские котлеты, в валдайские колокольчики и бублики,— когда в длинные осенние вечера нагорали сальные свечи, освещая семейные кружки из двадцати и тридцати человек, на балах в канделябры вставлялись восковые и спермацетовые свечи, когда мебель ставили симметрично, когда наши отцы были еще молоды не одним отсутствием морщин и седых волос, а стрелялись за женщин и из другого угла комнаты бросались поднимать нечаянно и не нечаянно уроненные платочки, наши матери носили коротенькие талии и огромные рукава и решали семейные дела выниманием билетиков; когда прелестные дамы-камелии прятались от дневного света,— в наивные времена масонских лож, мартинистов, тугендбунда, во времена Милорадовичей, Давыдовых, Пушкиных,— в губернском городе К. был съезд помещиков и кончались дворянские выборы.

I

— Ну, все равно, хоть в залу,— говорил молодой офицер в шубе и гусарской фуражке, только что из дорожных саней, входя в лучшую гостиницу города К.

— Съезд такой, батюшка ваше сиятельство, огромный,— говорил коридорный, успевший уже от денщика узнать, что фамилия гусара была граф Турбин, и поэтому величавший его «ваше сиятельство».— Афремовская помещица с дочерьми обещались к вечеру выехать; так вот и изволите занять, как опростается, одиннадцатый нумер,— говорил он, мягко ступая впереди графа по коридору и беспрестанно оглядываясь.

В общей зале перед маленьким столом, подле почерневшего, во весь рост, портрета императора Александра, сидели за шампанским несколько человек — *здешних* дворян, должно быть, и в сторонке какие-то купцы, проезжающие, в синих шубах.

Войдя в комнату и зазвав туда *Блюхера,* огромную серую меделянскую собаку, приехавшую с ним, граф сбросил заиндевевшую еще на воротнике шинель, спросил водки и, оставшись в атласном синем архалуке, подсел к столу и вступил в разговор с господами, сидевшими тут, которые, сейчас же расположенные в пользу приезжего его прекрасной и открытой наружностью, предложили ему бокал шампанского. Граф выпил сначала стаканчик

водки, а потом тоже спросил бутылку, чтоб угостить новых знакомых. Вошел ямщик просить на водку.

— Сашка,— крикнул граф,— дай ему!

Ямщик вышел с Сашкой и снова вернулся, держа в руке деньги.

— Что ж, батюшка васясо, как, кажется, старался твоей милости! полтинник обещал, а они четвертак пожаловали.

— Сашка! дай ему целковый!

Сашка, потупясь, посмотрел на ноги ямщика.

— Будет с него,— сказал он басом,— да у меня и денег нет больше.

Граф достал из бумажника единственные две синенькие, которые были в нем, и дал одну ямщику, который поцеловал его в ручку и вышел.

— Вот пригнал!— сказал граф,— последние пять рублей.

— По-гусарски, граф,— улыбаясь, сказал один из дворян, по усам, голосу и какой-то энергической развязанности в ногах, очевидно, отставной кавалерист.— Вы здесь долго намерены пробыть, граф?

— Денег достать нужно, а то бы я не остался. Да и нумеров нет. Черт их дери, в этом кабаке проклятом...

— Позвольте, граф,— возразил кавалерист,— да не угодно ли ко мне? я вот здесь, в седьмом нумере. Коли не побрезгуете покамест проночевать. А вы пробудьте у нас денька три. Нынче же бал у предводителя. Как бы он рад был!

— Право, граф, погостите,— подхватил другой из собеседников, красивый молодой человек,— куда вам торопиться! А ведь это в три года раз бывает — выборы. Посмотрели бы хоть на наших барышень, граф!

— Сашка! давай белье: поеду в баню,— сказал граф, вставая.— А оттуда, посмотрим, может, и в самом деле к предводителю дерну.

Потом он позвал полового, поговорил о чем-то с ним, на что половой, усмехнувшись, ответил, «что все дело рук человеческих», и вышел.

— Так я, батюшка, к вам в нумер велю перенести чемодан,— крикнул граф из-за двери.

— Сделайте одолжение, осчастливите,— отвечал кавалерист, подбегая к двери.— Седьмой нумер! не забудьте.

Когда шаги его уже перестали быть слышны, кавалерист вернулся на свое место и, подсев ближе к чиновнику и взглянув ему прямо улыбающимися глазами в лицо, сказал:

— А ведь это тот самый.

— Ну?

— Уж я тебе говорю, что тот самый дуэлист-гусар,— ну, Турбин, известный. Он меня узнал, пари держу, что узнал. Как же, мы в Лебедяни с ним кутили вместе три недели без просыпу, когда я за ремонтом был. Там одна штука была — мы вместе сотворили,— от этого он как будто ничего. А молодчина, а?

— Молодец. И какой он приятный в обращении! ничего так не заметно,— отвечал красивый молодой человек,— как мы скоро сошлись... Что, ему лет двадцать пять, не больше?

— Нет, оно так кажется; только ему больше. Да ведь надо знать, кто это? Мигунову кто увез?— он. Саблина он убил, Матнева он из окошка за ноги спустил, князя Нестерова он обыграл на триста тысяч. Ведь это какая отчаянная башка, надо знать! Картежник, дуэлист, соблазнитель; но гусар — душа, уж истинно душа. Ведь только на нас слава, а коли бы понимал кто-нибудь, что такое значит гусар истинный. Ах, времечко было!

И кавалерист рассказал своему собеседнику такой лебедянский кутеж с графом, которого не только никогда не было, но и не могло быть. Не могло быть, во-первых, потому, что графа он никогда прежде не видывал и вышел в отставку двумя годами раньше, чем граф поступил на службу, а во-вторых, потому, что кавалерист никогда даже не служил в кавалерии, а четыре года служил самым скромным юнкером в Белевском полку и, как только был произведен в прапорщики, вышел в отставку. Но десять лет тому назад, получив наследство, он ездил действительно в Лебедянь, прокутил там с ремонтерами семьсот рублей и сшил себе уже было уланский мундир с ранжевыми отворотами, с тем чтобы поступить в уланы. Желание поступить в кавалерию и три недели, проведенные с ремонтерами в Лебедяни, осталось самым светлым, счастливым периодом в его жизни, так что желание это сначала он перенес в действительность, потом в воспоминание и сам уже стал твердо верить в свое кавалерийское прошедшее, что не мешало ему быть по мягкосердечию и честности истинно достойнейшим человеком.

— Да, кто не служил в кавалерии, тот никогда не поймет нашего брата.— Он сел верхом на стул н, выставив нижнюю челюсть, заговорил басом.— Едешь, бывало, перед эскадроном; под тобой черт, а не лошадь, в ланцадах вся; сидишь, бывало, этак чертом. Подъедет эскадронный командир на смотру. «Поручик, говорит, пожалуйста — без вас ничего не будет — проведите эскадрон церемониалом». Хорошо, мол, а уж тут — есть! Оглянешься, крикнешь, бывало, на усачей своих. Ах, черт возьми, времечко было!

Вернулся граф, весь красный и с мокрыми волосами, из бани и вошел прямо в седьмой нумер, в котором уже сидел кавалерист в халате, с трубкой, с наслаждением и некоторым страхом размышлявший о том счастии, которое ему выпало на долю,— жить в одной комнате с известным Турбиным. «Ну, что,— приходило ему в голову,— как вдруг возьмет да разденет меня, голого вывезет за заставу

да посадит в снег, или... дегтем вымажет, или просто... Нет, по-товарищески не сделает...»— утешал он себя.

— Блюхера накормить, Сашка! — крикнул граф.

Явился Сашка, с дороги выпивший стакан водки и захмелевший порядочно.

— Ты уж не утерпел, напился, каналья!.. Накормить Блюхера!

— И так не издохнет: вишь, какой гладкий! — отвечал Сашка, поглаживая собаку.

— Ну, не разговаривать! пошел накорми.

— Вам только бы собака сыта была, а человек выпил рюмку, так и попрекаете.

— Эй, прибью! — крикнул граф таким голосом, что стекла задрожали в окнах и кавалеристу даже стало немного страшно.

— Вы бы спросили, ел ли еще нынче Сашка-то что-нибудь. Что ж, бейте, коли вам собака дороже человека,— проговорил Сашка. Но тут же получил такой страшный удар кулаком в лицо, что упал, стукнулся головой о перегородку и, схватясь рукой за нос, выскочил в дверь и повалился на ларе в коридоре.

— Он мне зубы разбил,— ворчал Сашка, вытирая одной рукой окровавленный нос, а другой почесывая спину облизывавшегося Блюхера,— он мне зубы разбил. Блюшка, а все он мой граф, и я за него могу пойти в огонь — вот что! Потому он мой граф, понимаешь, Блюшка? А есть хочешь?

Полежав немного, он встал, накормил собаку и, почти трезвый, пошел прислуживать и предлагать чаю своему графу.

— Вы меня просто обидите,— говорил робко кавалерист, стоя перед графом, который, задрав ноги на перегородку, лежал на его постели,— я ведь тоже старый военный и товарищ, могу сказать. Чем вам у кого-нибудь занимать, я вам с радостию готов служить рублей двести. У меня теперь нет их, а только сто; но я нынче же достану. Вы меня просто обидите, граф!

— Спасибо, батюшка,— сказал граф, сразу угадав тот род отношений, который должен был установиться между ними, трепля по плечу кавалериста,— спасибо. Ну, так и на бал поедем, коли так. А теперь что будем делать? Рассказывай, что у вас в городе есть: хорошенькие кто? кутит кто? в карты кто играет?

Кавалерист объяснил, что хорошеньких пропасть на бале будет; что кутит больше всех исправник Колков, вновь выбранный, только что удали нет в нем настоящей гусарской, а так только — малый добрый; что Илюшкин хор цыган здесь с начала выборов поет, Стешка запевает, и что нынче к ним *все* от предводителя собираются.

— И игра есть порядочная,— рассказывал он.— Лухнов, приезжий, играет с деньгами, и Ильин, что в восьмом нумере стоит, уланский корнет, тоже много проигрывает. У него уже началось. Каждый вечер играют, и какой малый чудесный, я вам скажу, граф, Ильин этот: вот уж нескупой — последнюю рубашку отдаст.

— Так пойдем к нему. Посмотрим, что за народ такой,— сказал граф.

— Пойдемте, пойдемте! Они ужасно рады будут.

II

Уланский корнет Ильин недавно проснулся. Накануне он сел за игру в восемь часов вечера и проиграл пятнадцать часов сряду, до одиннадцати утра. Он проиграл что-то много, но сколько именно, он не знал, потому что у него было тысячи три своих денег и пятнадцать тысяч казенных, которые он давно смешал вместе с своими и боялся считать, чтобы не убедиться в том, что он предчувствовал,— что уже и казенных недоставало сколько-то. Он заснул почти в полдень и спал тем тяжелым сном без сновидений, которым спится только очень молодому человеку и после очень большого проигрыша. Проснувшись в шесть часов вечера, в то самое время, как граф Турбин приехал в гостиницу, и увидав вокруг себя на полу карты, мел и испачканные столы посреди комнаты, он с ужасом вспомнил вчерашнюю игру и последнюю карту — валета, которую ему убили на пятьсот рублей, но, не веря еще хорошенько действительности, достал из-под подушки деньги и стал считать. Он узнал некоторые ассигнации, которые углами и транспортами несколько раз переходили из рук в руки, вспомнил весь ход игры. Своих трех тысяч уже не было, и из казенных недоставало уже двух с половиною тысяч.

Улан играл четыре ночи сряду.

Он ехал из Москвы, где получил казенные деньги. В К. его задержал смотритель под предлогом неимения лошадей, но, в сущности, по уговору, который он сделал давно с содержателем гостиницы,— задерживать на день всех проезжающих. Улан, молоденький, веселый мальчик, только что получивший в Москве от родителей три тысячи на обзаведение в полку, был рад пробыть во время выборов несколько дней в городе К. и надеялся тут на славу повеселиться. Один помещик семейный был ему знаком, и он сбирался поехать к нему, поволочиться за его дочерьми, когда кавалерист явился знакомиться к улану и в тот же вечер, без всякой дурной мысли, свел его с своими знакомыми, Лухновым и другими игроками, в общей зале. С того же вечера улан сел за игру и не только не ездил к знакомому помещику, но не спрашивал больше про лошадей и не выходил четыре дня из комнаты.

Одевшись и напившись чаю, он подошел к окну. Ему захотелось пройтись, чтобы прогнать неотвязчивые игорные воспоминания. Он надел шинель и вышел на улицу. Солнце уже

спряталось за белые дома с красными крышами; наступали сумерки. Было тепло. На грязные улицы тихо падал хлопьями влажный снег. Ему вдруг стало невыносимо грустно от мысли, что он проспал весь этот день, который уже кончался.

«Уж этого дня, который прошел, никогда не воротишь»,— подумал он.

«Погубил я свою молодость»,— сказал он вдруг сам себе, не потому, чтобы он действительно думал, что он погубил свою молодость,— он даже вовсе и не думал об этом,— но так ему пришла в голову эта фраза.

«Что теперь я буду делать? — рассуждал он.— Занять у кого-нибудь и уехать». Какая-то барыня прошла по тротуару. «Вот так глупая барыня,— подумал он отчего-то.— Занять-то не у кого. Погубил я свою молодость». Он подошел к рядам. Купец в лисьей шубе стоял у дверей лавки и зазывал к себе. «Коли бы восьмерку я не снял, я бы отыгрался». Нищая старуха хныкала, следуя за ним. «Занять-то не у кого». Какой-то господин в медвежьей шубе проехал, будочник стоит. «Что бы сделать такое необыкновенное? Выстрелить в них? Нет, скучно! Погубил я свою молодость. Ах, хомуты славные с набором висят. Вот бы на тройку сесть. Эх вы, голубчики! Пойду домой. Лухнов скоро придет, играть станем». Он вернулся домой, еще раз счел деньги. Нет, он не ошибся в первый раз: опять из казенных недоставало две с половиной тысячи рублей. «Поставлю первую двадцать пять, вторую — угол... на семь кушей... на пятнадцать, на тридцать, на шестьдесят... три тысячи. Куплю хомуты и уеду. Не даст, злодей! Погубил я свою молодость». Вот что происходило в голове улана в то время, как Лухнов действительно вошел к нему.

— Что, давно встали, Михайло Васильич? — спросил Лухнов, медлительно снимая с сухого носа золотые очки и старательно вытирая их красным шелковым платком.

— Нет, сейчас только. Отлично спал.

— Какой-то гусар приехал, остановился у Завальшевского... не слыхали?

— Нет, не слыхал... А что же, еще никого нет?

— Зашли, кажется, к Пряхину. Сейчас придут.

Действительно, скоро вошли в нумер: гарнизонный офицер, всегда сопутствовавший Лухнову; купец какой-то из греков с огромным горбатым носом коричневого цвета и впалыми черными глазами; толстый, пухлый помещик, винокуренный заводчик, игравший по целым ночам, всегда семпелями по полтиннику. Всем хотелось начать игру поскорее; но главные игроки ничего не говорили об этом предмете, особенно Лухнов чрезвычайно спокойно рассказывал о мошенничестве в Москве.

— Надо вообразить,— говорил он,— Москва — первопрестольный град, столица — и по ночам ходят с крюками мошенники, в чертей наряжены, глупую чернь пугают, грабят проезжих — и конец. Что полиция смотрит? Вот что мудрено.

Улан слушал внимательно рассказ о мошенниках, но в конце его встал и велел потихоньку подать карты. Толстый помещик первый высказался:

— Что ж, господа, золотое-то времечко терять! За дело, так за дело!

— Да, вы по полтинничкам натаскали вчера, так вам и нравится,— сказал грек.

— Точно, пора бы,— сказал гарнизонный офицер.

Ильин посмотрел на Лухнова. Лухнов продолжал спокойно, глядя ему в глаза, историю о мошенниках, наряженных в чертей с когтями.

— Будете метать? — спросил улан.

— Не рано ли?

— Белов! — крикнул улан, покраснев отчего-то,— принеси мне обедать... я еще не ел ничего, господа... шампанского принеси и карты подай.

В это время в нумер вошли граф и Завальшевский. Оказалось, что Турбин и Ильин были одной дивизии. Они тотчас же сошлись, чокнувшись выпили шампанского и через пять минут уж были на «ты». Казалось, Ильин очень понравился графу. Граф все улыбался, глядя на него, и подтрунивал над его молодостью.

— Экой молодчина улан! — говорил он.— Усищи-то, усищи-то!

У Ильина и пушок на губе был совершенно белый.

— Что, вы играть собираетесь, кажется? — сказал граф.— Ну, желаю тебе выиграть, Ильин! Ты, я думаю, мастер! — прибавил он, улыбаясь.

— Да вот, собираются,— отвечал Лухнов, раздирая дюжину карт,— а вы, граф, не изволите?

— Нет, нынче не буду. А то б я вас всех вздул. Я как пойду гнуть, так у меня всякий банк затрещит! Не на что. Проигрался под Волочком на станции. Попался мне там пехоташка какой-то, с перстнями, должно быть, шулер,— и облапошил дочиста.

— Разве ты долго сидел там на станции? — спросил Ильин.

— Двадцать два часа просидел. Памятна эта станция, проклятая! ну, да и смотритель не забудет.

— А что?

— Приезжаю, знаешь: выскочил смотритель, мошенницкая рожа, плутовская,— лошадей нет, говорит; а у меня, надо тебе сказать, закон: как лошадей нет, я не снимаю шубы и отправляюсь к смотрителю в комнату,— знаешь, не в казенную, а к смотрителю, и приказываю отворить настежь все двери и форточки: угарно будто бы. Ну, и тут то же. А морозы, помнишь, какие были в прошлом месяце — градусов двадцать было. Смотритель разговаривать было стал, я его в зубы. Тут старуха какая-то, девчонки, бабы писк подняли, похва-

тали горшки и бежать было на деревню... Я к двери; говорю: давай лошадей, так уеду, а то не выпущу, всех заморожу!

— Вот так отличная манера! — сказал пухлый помещнк, заливаясь хохотом,— это как тараканов вымораживают!

— Только не укараулил я как-то, вышел,— и удрал от меня смотритель со всеми бабами. Одна старуха осталась у меня под залог, на печке она все чихала и богу молилась. Потом уж мы переговоры вели: смотритель приходил и издалека все уговаривал, чтоб отпустить старуху, а я его Блюхером притравливал,— отлично берет смотрителей Блюхер. Так и не дал мерзавец лошадей до другого утра. Да тут подъехал этот пехоташка. Я ушел в другую комнату, и стали играть. Вы видели Блюхера?.. Блюхер!.. Фю!

Вбежал Блюхер. Игроки снисходительно занялись им, хотя видно было, что им хотелось заниматься совершенно другим делом.

— Однако что же вы, господа, не играете? Пожалуйста, чтоб я вам не мешал. Ведь я болтун,— сказал Турбин,— *любишь не любишь* — дело хорошее.

III

Лухнов придвинул к себе две свечи, достал огромный, наполненный деньгами коричневый бумажник, медлительно, как бы совершая какое-то таинство, открыл его на столе, вынул оттуда две сторублевые бумажки и положил их под карты.

— Так же, как вчера,— банку двести,— сказал он, поправляя очки и распечатывая колоду.

— Хорошо,— сказал, не глядя на него, Ильин между разговором, который он вел с Турбиным.

Игра завязалась. Лухнов метал отчетливо, как машина, изредка останавливаясь и неторопливо записывая или строго взглядывая сверх очков и слабым голосом говоря: «Пришлите». Толстый помещик говорил громче всех, делая сам с собой вслух различные соображения, и мусолил пухлые пальцы, загибая карты. Гарнизонный офицер молча, красиво подписывал под картой и под столом загибал маленькие уголки. Грек сидел сбоку банкомета и внимательно следил своими впалыми черными глазами за игрой, выжидая чего-то. Завальшевский, стоя у стола, вдруг весь приходил в движение, доставал из кармана штанов красненькую или синенькую, клал сверх нее карту, прихлопывал по ней ладонью, приговаривал: «Вывези, семерочка!», закусывал усы, переминался с ноги на ногу, краснел и приходил весь в движение, продолжавшееся до тех пор, пока не выходила карта. Ильин ел телятину с огурцами, поставленную подле него на волосяном диване, и, быстро обтирая руки о сюртук, ставил одну карту за другой. Турбин, сидевший сначала на диване, тотчас же заметил, в чем дело. Лухнов не глядел вовсе на улана и ничего не говорил ему: только изредка его очки на мгновение направлялись на руки улана, но большая часть его карт проигрывала.

— Вот бы мне эту карточку убить,— приговаривал Лухнов про карту толстого помещика, игравшего по полтине.

— Вы бейте у Ильина, а мне-то что,— замечал помещик.

И действительно, Ильина карты бились чаще других. Он нервически раздирал под столом проигравшую карту и дрожащими руками выбирал другую. Турбин встал с дивана и попросил грека пустить его сесть подле банкомета. Грек пересел на другое место, а граф, сев на его стул, не спуская глаз, пристально начал смотреть на руки Лухнова.

— Ильин! — сказал он вдруг своим обыкновенным голосом, который, совершенно невольно для него, заглушал все другие,— зачем рутерок держишься? Ты не умеешь играть!

— Уж как ни играй, все равно.

— Так ты наверно проиграешь. Дай я за тебя попонтирую.

— Нет, извини, пожалуйста: уж я всегда сам. Играй за себя, ежели хочешь.

— За себя, я сказал, что не буду играть; я за тебя хочу. Мне досадно, что ты проигрываешься.

— Уж, видно, судьба!

Граф замолчал и, облокотясь, опять так же пристально стал смотреть на руки банкомета.

— Скверно! — вдруг проговорил он громко и протяжно.

Лухнов оглянулся на него.

— Скверно, скверно! — проговорил он еще громче, глядя прямо в глаза Лухнову.

Игра продолжалась.

— Не-хо-ро-шо! — опять сказал Турбин, только что Лухнов убил большую карту Ильина.

— Что это вам не нравится, граф? — учтиво и равнодушно спросил банкомет.

— А то, что вы Ильину семпеля даете, а углы бьете. Вот что скверно.

Лухнов сделал плечами и бровями легкое движение, выражавшее совет во всем предаваться судьбе, и продолжал играть.

— Блюхер, фю! — крикнул граф, вставая,— узи его! — прибавил он быстро.

Блюхер, стукнувшись спиной об диван и чуть не сбив с ног гарнизонного офицера, выскочил оттуда, подбежал к своему хозяину и зарычал, оглядываясь на всех и махая хвостом, как будто спрашивая: «Кто тут грубит? а?»

Лухнов положил карты и со стулом отодвинулся в сторону.

— Этак нельзя играть,— сказал он,— я ужасно собак не люблю. Что ж за игра, когда целую псарню приведут!

— Особенно эти собаки: они пиявки называются, кажется,— поддакнул гарнизонный офицер.

— Что ж, будем играть, Михайло Васильич, или нет? — сказал Лухнов хозяину.

— Не мешай нам, пожалуйста, граф! — обратился Ильин к Турбину.

— Поди сюда на минутку,— сказал Турбин, взяв Ильина за руку, и вышел с ним за перегородку.

Оттуда были совершенно ясно слышны слова графа, говорившего своим обыкновенным голосом. А голос у него был такой, что его всегда слышно было за три комнаты.

— Что ты, ошалел, что ли? Разве не видишь, что этот господин в очках — шулер первой руки.

— Э, полно! что ты говоришь!

— Не полно, а брось, я тебе говорю. Мне бы все равно. В другой раз я бы сам тебя обыграл; да так, мне что-то жалко, что ты продуешься. Еще нет ли у тебя казенных денег?

— Нет; да и с чего ты выдумал?

— Я, брат, сам по этой дорожке бегал, так все шулерские приемы знаю; я тебе говорю, что в очках — это шулер. Брось, пожалуйста. Я тебя прошу, как товарища.

— Ну, вот я только одну талию, и кончу.

— Знаю, как одну; ну, да посмотрим.

Вернулись. В одну талию Ильин поставил столько карт и столько их ему убили, что он проиграл много.

Турбин положил руки на середину стола.

— Ну, баста! Поедем.

— Нет, уж я не могу; оставь меня, пожалуйста,— сказал с досадой Ильин, тасуя гнутые карты и не глядя на Турбина.

— Ну, черт с тобой! проигрывай наверняка, коли тебе нравится, а мне пора! Завальшевский! поедем к предводителю.

И они вышли. Все молчали, и Лухнов не метал до тех пор, пока стук их шагов и когтей Блюхера не замер по коридору.

— Эка башка! — сказал помещик, смеясь.

— Ну, теперь не будет мешать,— прибавил торопливо и еще шепотом гарнизонный офицер.

И игра продолжалась.

IV

Музыканты, дворовые люди предводителя, стоя в буфете, очищенном на случай бала, уже заворотив рукава сюртуков, по данному знаку заиграли старинный польский «Александр, Елисавета» и при ярком и мягком освещении восковых свеч по большой паркетной зале начинали плавно проходить: екатерининский генерал-губернатор со звездой, под руку с худощавой предводительшей, предводитель под руку с губернаторшей и т. д.— губернские власти в различных сочетаниях и перемещениях, когда Завальшевский, в синем фраке с огромным воротником и буфами на плечах, в чулках и башмаках, распространяя вокруг себя запах жасминных духов, которыми были обильно спрыснуты его усы, лацкана и платок, вместе с красавцем гусаром в голубых обтянутых рейтузах и шитом золотом красном ментике, на котором висели владимирский крест и медаль двенадцатого года, вошли в залу. Граф был невысок ростом, но отлично, красиво сложен. Ясно-голубые и чрезвычайно блестящие глаза и довольно большие, вьющиеся густыми кольцами, темно-русые волосы придавали его красоте замечательный характер. Приезд графа на бал был ожидаем: красивый молодой человек, видевший его в гостинице, уже повестил о том предводителя. Впечатление, произведенное этим известием, было различно, но вообще не совсем приятно. «Еще на смех подымет этот мальчишка»,— было мнение старух и мужчин. «Что, если он меня похитит?» — было более или менее мнение молодых женщин и барышень.

Как только польский кончился и пары взаимно раскланивались, снова отделяясь женщины к женщинам, мужчины к мужчинам, Завальшевский, счастливый и гордый, подвел графа к хозяйке. Предводительша, испытывая некоторый внутренний трепет, чтобы гусар этот не сделал с ней при всех какого-нибудь скандала, гордо и презрительно отворотясь, сказала: «Очень рада-с! надеюсь, будете танцевать?» — и недоверчиво взглянула на него с выражением, говорившим: «Уж ежели ты женщину обидишь, то ты совершенный подлец после этого». Граф, однако, скоро победил это предубеждение своею любезностью, внимательностью и прекрасной веселой наружностью, так что чрез пять минут выражение лица предводительши уже говорило всем окружающим: «Я знаю, как вести этих господ: он сейчас понял, с кем говорит; вот и будет со мной весь вечер любезничать». Однако тут же подошел к графу губернатор, знавший его отца, и весьма благосклонно отвел его в сторону и поговорил с ним, что еще больше успокоило губернскую публику и возвысило в ее мнении графа. Потом Завальшевский подвел его знакомить к своей сестре — молодой полненькой вдовушке, с самого приезда графа впившейся в него своими большими черными глазами. Граф позвал вдовушку танцевать вальс, который заиграли в это время музыканты, и уже окончательно своим искусством танцевать победил общее предубеждение.

— А мастер танцевать! — сказала толстая помещица, следя за ногами в синих рейтузах, мелькавшими по зале, и мысленно считая: раз, два, три; раз, два, три...— мастер!

— Так и строчит, так и строчит,— сказала другая приезжая, считавшаяся дурного тона в губернском обществе,— как он шпорами не задеет! Удивительно, очень ловок!

Граф затмил своим искусством танцевать трех лучших танцоров в губернии: и высокого

белобрысого адъютанта губернаторского, отличавшегося своею быстротой в танцах и тем, что он держал даму очень близко, и кавалериста, отличавшегося грациозным раскачиванием во время вальса и частым, но легким притоптыванием каблучка; и еще другого, штатского, про которого все говорили, что он хотя и недалек по уму, но танцор превосходный и душа всех балов. Действительно, этот штатский с начала бала и до конца приглашал всех дам по порядку, как они сидели, не переставал танцевать ни на минуту и только изредка останавливался, чтоб обтереть сделавшимся совершенно мокрым батистовым платочком изнуренное, но веселое лицо. Граф затмил всех их и танцевал с тремя главными дамами: с большой — богатой, красивой и глупой, с средней — худощавой, не слишком красивой, но прекрасно одевающейся, и с маленькой — некрасивой, но очень умной дамой. Он танцевал и с другими, со всеми хорошенькими, а хорошеньких было много. Но вдовушка, сестра Завальшевского, больше всех понравилась графу: с ней он танцевал и кадриль, и экосес, и мазурку. Он начал с того, когда они уселись в кадрили, что наговорил ей много комплиментов, сравнивая ее с Венерой, и с Дианой, и с розаном, и еще с каким-то цветком. На все эти любезности вдовушка только сгибала белую шейку, опускала глазки, глядя на свое белое кисейное платьице или из одной руки в другую перекладывая опахало. Когда же она говорила: «Полноте, граф, вы шутите»,— и т. п., голос ее, немного горловой, звучал таким наивным простодушием и смешною глупостью, что, глядя на нее, действительно приходило в голову, что это не женщина, а цветок, и не розан, а какой-то дикий бело-розовый пышный цветок без запаха, выросший один из девственного снежного сугроба в какой-нибудь очень далекой земле.

Такое странное впечатление производило на графа это соединение наивности и отсутствия всего условного с свежей красотой, что несколько раз в промежутки разговора, когда он молча смотрел ей в глаза или на прекрасные линии рук и шеи, ему приходило в голову с такой силой желание вдруг схватить ее на руки и расцеловать, что он серьезно должен был удерживаться. Вдовушка с удовольствием замечала впечатление, которое она производила; но что-то ее начинало тревожить и пугать в обращении графа, несмотря на то, что молодой гусар был вместе с заискивающею любезностью почтителен, по теперешним понятиям, до приторности. Он бегал ей за оршадом, подымал платок, вырвал стул из рук какого-то золотушного молодого помещика, который хотел тоже прислужить ей, чтобы подать его скорее, и т. д.

Заметив, что светская тогдашнего времени любезность мало действовала на его даму, он попробовал смешить ее, рассказывая ей забавные анекдоты; уверял, что он, если она прикажет, готов сейчас стать на голову, закричать петухом, выскочить в окно или броситься в прорубь. Это совершенно удалось: вдовушка развеселилась и как-то переливами смеялась, показывая чудные белые зубки, и была совершенно довольна своим кавалером. Графу же она с каждой минутой все более и более нравилась, так что под конец кадрили он был искренно влюблен в нее.

Когда после кадрили к вдовушке подошел ее давнишний восемнадцатилетний обожатель, неслужащий сын самого богатого помещика, золотушный молодой человек, тот самый, у которого вырвал стул Турбин, она приняла его чрезвычайно холодно, и в ней не было заметно и десятой доли того смущения, которое она испытывала с графом.

— Хороши вы,— сказала она ему, глядя в это время на спину Турбина и бессознательно соображая, сколько аршин золотого шнурка пошло на всю куртку,— хороши вы: обещали за мной заехать кататься и конфект мне привезти.

— Да я ведь приезжал, Анна Федоровна, а вас уже не было, и конфекты самые лучшие оставил,— сказал молодой человек, несмотря на высокий рост, очень тоненьким голоском.

— Вы найдете всегда отговорки! не нужно мне ваших конфект. Пожалуйста, не думайте...

— Я уж вижу, Анна Федоровна, как вы ко мне переменились, и знаю отчего. Только это нехорошо,— прибавил он, но, видимо, не докончив своей речи от какого-то внутреннего сильного волнения, заставившего весьма быстро и странно дрожать его губы.

Анна Федоровна не слушала его и продолжала следить глазами за Турбиным.

Предводитель, хозяин дома, величаво-толстый беззубый старик, подошел к графу и, взяв его под руку, пригласил в кабинет покурить и выпить, ежели угодно. Как только Турбин вышел, Анна Федоровна почувствовала, что в зале совершенно нечего делать, и, взяв под руку старую, сухую барышню, свою приятельницу, вышла с ней в уборную.

— Ну, что? мил? — спросила барышня.

— Только ужасно как пристает,— отвечала Анна Федоровна, подходя к зеркалу и глядясь в него.

Лицо ее просияло, глаза засмеялись, она покраснела даже и вдруг, подражая балетным танцовщицам, которых видела на этих выборах, перевернулась на одной ножке, потом засмеялась своим горловым, но милым смехом и припрыгнула даже, поджав колени.

— Каков? он у меня сувенир просил,— сказала она приятельнице,— только ничего ему не бу-у-у-дет,— пропела она последнее слово и подняла один палец в лайковой, до локтя высокой перчатке...

В кабинете, куда привел предводитель Турбина, стояли разных сортов водки, наливки, закуски и шампанское. В табачном

дыму сидели и ходили дворяне, разговаривая о выборах.

— Когда все благородное дворянство нашего уезда почтило его выбором,— говорил вновь выбранный исправник, уже значительно выпивший,— то он не должен был манкировать перед всем обществом, никогда не должен был...

Приход графа прервал разговор. Все стали с ним знакомиться, и особенно исправник обеими руками долго жал его руку и несколько раз просил, чтобы он не отказался ехать с ними в компании после бала в новый трактир, где он угащивает дворян и где цыгане петь будут. Граф обещал непременно быть и выпил с ним несколько бокалов шампанского.

— Что ж вы не танцуете, господа? — спросил он перед тем, как выходить из комнаты.

— Мы не танцоры,— отвечал исправник, смеясь,— мы больше насчет вина, граф... А впрочем, ведь это при мне повыросло, все эти барышни, граф! Я этак иногда тоже в экосесе пройдусь, граф... могу, граф...

— А пойдем теперь пройдемся,— сказал Турбин,— разгуляемся перед цыганами.

— Что ж, пойдемте, господа! потешим хозяина.

И человека три дворян, с самого начала бала пившие в кабинете, с красными лицами, надели кто черные, кто шелковые вязаные перчатки и вместе с графом уже собрались идти в залу, когда их задержал золотушный молодой человек, весь бледный и едва удерживая слезы, подошедший к Турбину.

— Вы думаете, что вы граф, так можете толкаться, как на базаре,— говорил он, с трудом переводя дыхание,— оттого, что это неучтиво...

Снова против его воли запрыгавшие губы остановили поток его речи.

— Что? — крикнул Турбин, вдруг нахмурившись.— Что? Мальчишка! — крикнул он, схватив его за руки и сжав так, что у молодого человека кровь в голову бросилась, не столько от досады, сколько от страха,— что, вы стреляться хотите? Так я к вашим услугам.

Едва Турбин выпустил руки, которые он сжал так крепко, как уже двое дворян подхватили под руки молодого человека и потащили к задней двери.

— Что, вы с ума сошли? Вы напились, верно. Вот папеньке сказать. Что с вами? — говорили они ему.

— Нет, не напился, а он толкается и не извиняется. Он свинья! вот что! — пищал молодой человек, уже совершенно расплакавшись.

Однако его не послушали и увезли домой.

— Полноте, граф! — увещевали с своей стороны Турбина исправник и Завальшевский,— ведь ребенок, его секут еще, ему ведь шестнадцать лет. И что с ним сделалось, нельзя понять. Какая его муха укусила? И отец его почтенный такой человек, кандидат наш.

— Ну, черт с ним, коли не хочет...

И граф вернулся в залу и, так же как и прежде, весело танцевал экосес с хорошенькой вдовушкой и от всей души хохотал, глядя на па, которые выделывали господа, вышедшие с ним из кабинета, и залился звонким хохотом на всю залу, когда исправник поскользнулся и во весь рост шлепнулся посередине танцующих.

V

Анна Федоровна, в то время как граф ходил в кабинет, подошла к брату и, почему-то сообразив, что нужно притвориться весьма мало интересующеюся графом, стала расспрашивать: «Что это за гусар такой, что со мной танцевал? скажите, братец». Кавалерист объяснил сколько мог сестрице, какой был великий человек этот гусар, и при этом рассказал, что граф здесь остался потому только, что у него деньги дорогой украли и что он сам дал ему сто рублей взаймы, но этого мало, так не может ли сестрица ссудить ему еще рублей двести; но Завальшевский просил про это никому, и особенно графу, отнюдь ничего не говорить. Анна Федоровна обещала прислать нынче же и держать дело в секрете, но почему-то во время экосеса ей ужасно захотелось предложить самой графу сколько он хочет денег. Она долго сбиралась, краснела и наконец, сделав над собою усилие, таким образом приступила к делу.

— Мне братец говорил, что у вас, граф, на дороге несчастие было и денег теперь нет. А если нужны вам, не хотите ли у меня взять? Я бы ужасно рада была.

Но, выговорив это, Анна Федоровна вдруг чего-то испугалась и покраснела. Вся веселость мгновенно исчезла с лица графа.

— Ваш братец дурак! — сказал он резко.— Вы знаете, что когда мужчина оскорбляет мужчину, тогда стреляются; а когда женщина оскорбляет мужчину, тогда что делают, знаете ли вы?

У бедной Анны Федоровны покраснели шея и уши от смущения. Она потупилась и не отвечала.

— Женщину целуют при всех,— тихо сказал граф, нагнувшись, ей на ухо.— Мне позвольте хоть вашу ручку поцеловать,— потихоньку прибавил он после долгого молчания, сжалившись над смущением своей дамы.

— Ах, только не сейчас,— проговорила Анна Федоровна, тяжело вздыхая.

— Так когда же? Я завтра рано еду... А уж вы мне это должны.

— Ну, так, стало быть, нельзя,— сказала Анна Федоровна, улыбаясь.

— Вы только позвольте мне найти случай видеть вас нынче, чтоб поцеловать вашу руку. Я уж найду его.

— Да как же вы найдете?

— Это не ваше дело. Чтоб видеть вас, для меня все возможно... Так хорошо?

— Хорошо.

Экосес кончился; протанцевали еще мазурку, в которой граф делал чудеса, ловя платки, становясь на одно колено и прихлопывая шпорами как-то особенно, по-варшавски, так что все старики вышли из-за бостона смотреть в залу, и кавалерист, лучший танцор, сознал себя превзойденным. Поужинали, протанцевали еще гросфатер и стали разъезжаться. Граф во все время не спускал глаз с вдовушки. Он не притворялся, говоря, что для нее готов был броситься в прорубь. Прихоть ли, любовь ли, упорство ли, но в этот вечер все его душевные силы были сосредоточены на одном желании — видеть и любить ее. Только что он заметил, что Анна Федоровна стала прощаться с хозяйкой, он выбежал в лакейскую, а оттуда, без шубы, на двор, к тому месту, где стояли экипажи.

— Анны Федоровны Зайцевой экипаж! — закричал он. Высокая четвероместная карета с фонарями сдвинулась с места и поехала к крыльцу.— Стой! — закричал он кучеру, по колено в снегу подбегая к карете.

— Чего надо? — отозвался кучер.

— В карету надо сесть,— отвечал граф, на ходу отворяя дверцы и стараясь влезть.— Стой же, черт! Дурень!

— Васька! стой! — крикнул кучер на форейтора и остановил лошадей.— Что ж в чужую карету лезете? это барыни Анны Федоровны карета, а не вашей милости карета.

— Ну, молчи ж, болван! На тебе целковый да слезь закрой дверцы,— говорил граф. Но так как кучер не шевелился, то он сам подобрал ступеньки и, открыв окно, кое-как захлопнул дверцы. В карете, как и во всех старых каретах, в особенности обитых желтым басоном, пахло какой-то гнилью и горелой щетиной. Ноги графа были по колено в талом снегу и сильно зябли в тонких сапогах и рейтузах, да и все тело прохватывал зимний холод. Кучер ворчал на козлах и, кажется, сбирался слезть. Но граф ничего не слыхал и не чувствовал. Лицо его горело, сердце его сильно стучало. Он напряженно схватился за желтый ремень, высунулся в боковое окно, и вся жизнь его сосредоточилась в одном ожидании. Ожидание это продолжалось недолго. На крыльце закричали: «Зайцевой карету!», кучер зашевелил вожжами, кузов заколыхался на высоких рессорах, освещенные окна дома побежали одно за другим мимо окна кареты.

— Смотри, ежели ты, шельма, скажешь лакею, что я здесь,— сказал граф, высовываясь в переднее окошко к кучеру,— я тебя вздую, а не скажешь — еще десять рублей.

Едва он успел опустить окно, как кузов уж снова сильнее закачался, и карета остановилась. Он прижался к углу, перестал дышать, даже зажмурился: так ему страшно было, что почему-нибудь не сбудется его страстное ожидание. Дверцы отворились, одна за другой с шумом попадали ступеньки, зашумело женское платье, в затхлую карету ворвался запах жасминных духов, быстрые ножки взбежали по ступенькам, и Анна Федоровна, задев полой распахнувшегося салопа по ноге графа, молча, но тяжело дыша, опустилась на сиденье подле него.

Видела ли она его или нет, этого никто бы не мог решить, даже сама Анна Федоровна; но когда он взял ее за руку и сказал: «Ну, уж теперь поцелую-таки вашу ручку»,— она очень мало изъявила испуга, ничего не отвечала, но отдала ему руку, которую он покрыл поцелуями гораздо выше перчатки. Карета тронулась.

— Скажи ж что-нибудь. Ты не сердишься? — говорил он ей.

Она молча прижалась в свой угол, но вдруг отчего-то заплакала и сама упала головой к его груди.

VI

Вновь выбранный исправник с своей компанией, кавалерист и другие дворяне уже давно слушали цыган и пили в новом трактире, когда граф в медвежьей, крытой синим сукном шубе, принадлежавшей покойному мужу Анны Федоровны, присоединился к их компании.

— Батюшка ваше сиятельство! ждали не дождались! — говорил косой черный цыган, показывая свои блестящие зубы, встретив его еще в сенях и бросаясь снимать шубу.— С Лебедяни не видали... Стеша зачахла совсем по вас...

Стеша, стройная молоденькая цыганочка с кирпично-красным румянцем на коричневом лице, с блестящими глубокими черными глазами, осененными длинными ресницами, выбежала тоже навстречу.

— А! графчик! голубчик! золотой! вот радость-то! — заговорила она сквозь зубы с веселой улыбкой.

Сам Илюшка выбежал навстречу, притворяясь, что очень радуется. Старухи, бабы, девки повскакали с мест и окружили гостя. Кто считался кумовством, кто крестовым братством.

Молодых цыганок Турбин всех расцеловал в губы; старухи и мужчины целовали его в плечико и в ручку. Дворяне тоже были очень обрадованы приездом гостя, тем более что гульба, дойдя до своего апогея, теперь уже остывала. Каждый начинал испытывать пресыщение; вино, потеряв возбудительное действие на нервы, только тяготило желудок. Каждый уже выпустил весь свой заряд ухарства и пригляделся один к другому; все песни были пропеты и перемешались в голове каждого, оставляя какое-то шумное, распущенное впечатление. Что бы кто ни сделал странного

и лихого, всем начинало приходить в голову, что ничего тут нет любезного и смешного. Исправник, лежа в безобразном виде на полу у ног какой-то старухи, заболтал ногами и закричал:

— Шампанского!.. граф приехал!.. шампанского!.. приехал!.. ну, шампанского!.. ванну сделаю из шампанского и буду купаться... Господа дворяне! люблю благородное дворянское общество... Стешка! пой «Дорожку».

Кавалерист был тоже навеселе, но в другом виде. Он сидел на диване в уголке, очень близко рядом с высокой красивой цыганкой Любашей и, чувствуя, как хмель туманил его глаза, хлопал ими, помахивал головою и, повторяя одни и те же слова, шепотом уговаривал цыганку бежать с ним куда-то. Любаша, улыбаясь, слушала его так, как будто то, что он ей говорил, было очень весело и вместе с тем несколько печально, бросала изредка взгляды на своего мужа, косого Сашку, стоявшего за стулом против нее, и в ответ на признание в любви кавалериста нагибалась ему на ухо и просила купить ей потихоньку, чтоб другие не видали, духов и ленту.

— Ура! — закричал кавалерист, когда вошел граф.

Красивый молодой человек, с озабоченным видом, старательно, твердыми шагами ходил взад и вперед по комнате и напевал мотивы из «Восстания в серале».

Старый отец семейства, увлеченный к цыганкам неотвязными просьбами господ дворян, которые говорили, что без него все расстроится и лучше не ехать, лежал на диване, куда он повалился тотчас, как приехал, и никто на него не обращал внимания. Какой-то чиновник, бывший тут же, сняв фрак, с ногами сидел на столе, ерошил свои волосы и тем сам доказывал, что он очень кутит. Как только вошел граф, он расстегнул ворот рубашки и подсел еще выше на стол. Вообще с приездом графа кутеж оживился.

Цыганки, разбредшиеся было по комнате, опять сели кружком. Граф посадил Стешку, запевалу, себе на колени и велел еще подать шампанского.

Илюшка с гитарой стал перед запевалой, и началась *пляска*, то есть цыганские песни: «Хожу ль я по улице», «Эй вы, гусары...», «Слышишь, разумеешь...» и т. д., в известном порядке. Стешка славно пела. Ее гибкий, звучный, из самой груди выливавшийся контральто, ее улыбки во время пенья, смеющиеся страстные глазки и ножка, шевелившаяся невольно в такт песни, ее отчаянное вскрикиванье при начале хора — все это задевало за какую-то звонкую, но редко задеваемую струну. Видно было, что она вся жила только в той песне, которую пела. Илюшка, улыбкой, спиной, ногами, всем существом изображая сочувствие песне, аккомпанировал ей на гитаре и, впившись в нее глазами, как будто в первый раз слушая песню, внимательно, озабоченно, в такт песни наклонял и поднимал голову. Потом он вдруг выпрямлялся при последней певучей ноте и, как будто чувствуя себя выше всех в мире, гордо, решительно вскидывал ногой гитару, перевертывал ее, притопывал, встряхивал волосами и, нахмурившись, оглядывался на хор. Все его тело от шеи и до пяток начинало плясать каждой жилкой... И двадцать энергических, сильных голосов, каждый из всех сил стараясь страннее и необыкновеннее вторить один другому, переливались в воздухе. Старухи подпрыгивали на стульях, помахивая платочками и оскаливая зубы, вскрикивали, в лад и в такт, одна громче другой. Басы, склонив головы набок и напружив шеи, гудели, стоя за стульями.

Когда Стеша выводила тонкие ноты, Илюшка подносил к ней ближе гитару, как будто желая помочь ей, а красивый молодой человек в восторге вскрикивал, что теперь бемоли пошли.

Когда заиграли плясовую и, дрожа плечами и грудью, прошлась Дуняша и, развернувшись перед графом, поплыла дальше, Турбин вскочил с места, скинул мундир и, оставшись в одной красной рубахе, лихо прошелся с нею в самый раз и такт, выделывая ногами такие штуки, что цыгане, одобрительно улыбаясь, переглядывались друг с другом.

Исправник сел по-турецки, хлопнул себя кулаком по груди и закричал: «Виват!», а потом, ухватив графа за ногу, стал рассказывать, что у него было две тысячи рублей, а теперь всего пятьсот осталось, и что он может сделать все, что захочет, ежели только граф позволит. Старый отец семейства проснулся и хотел уехать, но его не пустили. Красивый молодой человек упрашивал цыганку протанцевать с ним вальс. Кавалерист, желая похвастаться своей дружбой с графом, встал из своего угла и обнял Турбина.

— Ах ты, мой голубчик! — сказал он,— зачем ты только от нас уехал? А? — Граф молчал, видимо, думая о другом.— Куда ездил? Ах ты, плут, граф, уж я знаю, куда ездил.

Турбину отчего-то не понравилось это панибратство. Он, не улыбаясь, молча посмотрел в лицо кавалериста и вдруг пустил в упор на него такое страшное, грубое ругательство, что кавалерист огорчился и долго не знал, как ему принять такую обиду: в шутку или не в шутку. Наконец он решил, что в шутку, улыбнулся и пошел опять к своей цыганке, уверял ее, что он на ней непременно женится после святой. Запели другую песню, третью, еще раз поплясали, провеличали, и всем продолжало казаться весело. Шампанское не кончалось. Граф пил много. Глаза его как бы покрылись влагою, но он не шатался, плясал еще лучше, говорил твердо и даже сам славно подпевал в хоре и вторил Стеше, когда она пела «Дружбы нежное волненье». В середине

пляски купец, содержатель трактира, пришел просить гостей ехать по домам, потому что уже был третий час утра.

Граф схватил купца за шиворот и велел ему плясать вприсядку. Купец отказывался. Граф схватил бутылку шампанского и, перевернув купца иогами кверху, велел его держать так и, к общему хохоту, медлительио вылил иа иего всю бутылку.

Уже рассветало. Все были бледиы и изиурены, исключая графа.

— Одиако мне пора в Москву,— сказал ои вдруг, вставая.— Пойдем все ко мие, ребята. Проводите меия... и чаю иапьемся.

Все согласились, исключая заснувшего помещика, который тут и остался, иабились битком в трое саией, стоявших у подъезда, и поехали в гостиницу.

VII

— Закладывать! — крикнул граф, входя в общую залу гостиницы со всеми гостями и цыгаиами.— Сашка! не цыган Сашка, а мой, скажи смотрителю, что прибью, коли лошади плохи будут. Да чаю давай нам! Завальшевский! распоряжайся чаем, а я пройду к Ильину, посмотрю, что он,— прибавил Турбин и, выйдя в коридор, иаправился в иумер улана.

Ильии только что коичил игру и, проиграв все деньги до копейки, вниз лицом лежал на диване из разорванной волосяной материи, один за одним выдергивая волосы, кладя их в рот, перекусывая и выплевывая. Две сальные свечи, из которых одиа уже догорела до бумажки, стоя на ломбериом, завалениом картами столе, слабо боролись с светом утра, проникавшим в окна. Мыслей в голове улаиа иикаких ие было: какой-то густой тумаи игорной страсти застилал все его душевиые способиости; даже раскаяния не было. Ои попробовал раз подумать о том, что ему теперь делать, как выехать без копейки деиег, как заплатить пятнадцать тысяч проиграииых казеииых деиег, что скажет полковой комаидир, что скажет его мать, что скажут товарищи,— и иа иего иашел такой страх и такое отвращение к самому себе, что он, желая забыться чем-ибудь, встал, стал ходить по комиате, стараясь ступать только на щели половиц, и сиова иачал припомииать себе все мельчайшие обстоятельства происходившей игры; ои живо воображал, что уже отыгрывается и сиимает девятку, кладет короля пик на две тысячи рублей, иаправо ложится дама, налево туз, направо король бубен,— и все пропало; а ежели бы направо шестерка, а иалево король бубеи, тогда совсем бы отыгрался, поставил бы еще все иа пе и выиграл бы тысяч пятиадцать чистых, купил бы себе тогда иноходца у полкового комаидира, еще пару лошадей, фаэтон купил бы. Ну, что же еще потом? да иу и славиая, славиая бы штука была!

Ои опять лег иа диваи и стал грызть волосы.

«Зачем это поют песии в седьмом иумере? — подумал ои.— Это, верио, у Турбииа веселятся. Пойти нешто туда да выпить хорошенько».

В это время вошел граф.

— Ну что, продулся, брат, а? — крикиул ои.

«Притворюсь, что сплю,— подумал Ильии,— а то иадо с иим говорить, а мие уж спать хочется».

Одиако Турбин подошел к иему и погладил его по голове.

— Ну что, дружок любезиый, продулся? проигрался? говори.

Ильин не отвечал.

Граф дернул его за руку.

— Проиграл. Ну что тебе? — пробормотал Ильии сонным, равиодушно недовольным голосом, не перемеияя положения.

— Все?

— Ну да. Что ж за беда. Все. Тебе что?

— Послушай, говори правду, как товарищу,— сказал граф, под влиянием выпитого вина расположенный к нежности, продолжая гладить его по волосам.— Право, я тебя полюбил. Говори правду: ежели проиграл казенные, я тебя выручу; а то поздно будет... Казениые деньги были?

Ильии вскочил с дивана.

— Уж ежели ты хочешь, чтоб я говорил, так не говори со мной, оттого что... и, пожалуйста, не говори со мной... пулю в лоб — вот что мие осталось одио! — проговорил он с истинным отчаянием, упав головой на руки и заливаясь слезами, несмотря иа то, что за минуту перед этим преспокойио думал об иноходцах.

— Эх ты, красиая девушка! Ну, с кем этого ие бывало! Не беда: еще авось поправим. Подожди-ка меия тут.

Граф вышел из комиаты.

— Где стоит Лухиов, помещик? — спросил ои у коридорного.

Коридорный вызвался проводить графа. Граф, иесмотря на замечаиие лакея, что барии сейчас только пожаловали и раздеваться изволят, вошел в комиату. Лухнов в халате сидел перед столом, считая несколько кип ассигиаций, лежавших перед иим. На столе стояла бутылка рейнвейиа, который ои очень любил. С выигрыша ои позволил себе это удовольствие. Лухиов холодио, строго, через очки, как бы не узиавая, поглядел иа графа.

— Вы, кажется, меня ие узиаете? — сказал граф, решительными шагами подходя к столу.

Лухиов узнал графа и спросил:

— Что вам угодио?

— Мие хочется поиграть с вами,— сказал Турбии, садясь иа диван.

— Теперь?

— Да.

— В другой раз с моим удовольствием,

граф! а теперь я устал и соснуть сбираюсь. Не угодно ли винца? доброе винцо.

— А я теперь хочу поиграть немножко.

— Не располагаю нынче больше играть. Может, кто из господ станет, а я не буду, граф! Вы уж, пожалуйста, меня извините.

— Так не будете?

Лухнов сделал плечами жест, выражающий сожаление о невозможности исполнить желание графа.

— Ни за что не будете?

Опять тот же жест.

— А я вас очень прошу... Что ж, будете играть?..

Молчание.

— Будете играть?— второй раз спросил граф.— Смотрите!

То же молчание и быстрый взгляд сверх очков на начинавшее хмуриться лицо графа.

— Будете играть?— громким голосом крикнул граф, стукнув рукой по столу так, что бутылка рейнвейна упала и разлилась.— Ведь вы нечисто выиграли? Будете играть? третий раз спрашиваю.

— Я сказал, что нет. Это, право, странно, граф! и вовсе неприлично прийти с ножом к горлу к человеку,— заметил Лухнов, не поднимая глаз.

Последовало непродолжительное молчание, во время которого лицо графа бледнело больше и больше. Вдруг страшный удар в голову ошеломил Лухнова. Он упал на диван, стараясь захватить деньги,— и закричал таким пронзительно-отчаянным голосом, которого никак нельзя было ожидать от его всегда спокойной и всегда представительной фигуры. Турбин собрал лежащие на столе остальные деньги, оттолкнул слугу, который вбежал было на помощь барину, и скорыми шагами вышел из комнаты.

— Ежели вы хотите удовлетворения, то я к вашим услугам, в своем нумере еще пробуду полчаса,— прибавил граф, вернувшись к двери Лухнова.

— Мошенник! грабитель!..— послышалось оттуда.— Под уголовный подведу!

Ильин все так же, не обратив никакого внимания на обещание графа выручить его, лежал у себя в нумере на диване, и слезы отчаяния давили его. Сознание действительности, которое сквозь странную путаницу чувств, мыслей и воспоминаний, наполнявших его душу, вызвала ласка участия графа, не покидала его. Богатая надеждами молодость, честь, общественное уважение, мечты любви и дружбы — все было навеки потеряно. Источник слез начинал высыхать, слишком спокойное чувство безнадежности овладевало им больше и больше, и мысль о самоубийстве, уже не возбуждая отвращения и ужаса, чаще и чаще останавливала его внимание. В это время послышались твердые шаги графа.

На лице Турбина еще были видны следы гнева, руки его несколько дрожали, но в глазах сияла добрая веселость и самодовольство.

— На! отыграл!— сказал он, бросая на стол несколько кип ассигнаций.— Сочти, все ли? Да приходи скорей в общую залу, я сейчас еду,— прибавил он, как будто не замечая страшного волнения радости и благодарности, выразившегося на лице улана, и, насвистывая какую-то цыганскую песню, вышел из комнаты.

VIII

Сашка, перетянувшись кушаком, доложил, что лошади готовы, но требовал, чтоб сходить прежде взять графскую шинель, которая будто бы триста рублей с воротником стоит, и отдать поганую синюю шубу тому мерзавцу, который ее переменил на шинель у предводителя; но Турбин сказал, что искать шинель не нужно, и пошел в свой нумер переодеваться.

Кавалерист беспрестанно икал, сидя молча подле своей цыганки. Исправник, потребовав водки, приглашал всех господ ехать сейчас к нему завтракать, обещая, что его жена сама непременно пойдет плясать с цыганками. Красивый молодой человек глубокомысленно растолковывал Илюшке, что на фортепьянах души больше, а на гитаре бемолей нельзя брать. Чиновник грустно пил чай в уголку и, казалось, при дневном свете стыдился своего разврата. Цыгане спорили между собой по-цыгански и настаивали на том, чтоб повеличать еще господ, чему Стеша противилась, говоря, что *барорай* (по-цыгански: граф или князь, или, точнее, большой барин) прогневается. Вообще, уже догорала во всех последняя искра разгула.

— Ну, на прощанье еще песню и марш по домам,— сказал граф, свежий, веселый, красивый более чем когда-нибудь, входя в залу в дорожном платье.

Цыгане снова расположились кружком и только было собрались запеть, как вошел Ильин с пачкой ассигнаций в руке и отозвал в сторону графа.

— У меня всего было пятнадцать тысяч казенных, а ты мне дал шестнадцать тысяч триста,— сказал он,— эти твои, стало быть.

— Хорошее дело! давай!

Ильин отдал деньги, робко глядя на графа, открыл было рот, желая сказать что-то, но только покраснел так, что даже слезы выступили на глаза, потом схватил руку графа и начал жать ее.

— Убирайся! Илюшка!.. слушай меня... на вот тебе деньги; только провожать меня с песнями до заставы.— И он бросил ему на гитару тысячу триста рублей, которые принес Ильин. Но кавалеристу граф так и забыл отдать сто рублей, которые занял у него вчера.

Уже было десять часов утра. Солнышко поднялось выше крыш, народ сновал по ули-

цам, купцы давно отворили лавки, дворяне и чиновники ездили по улицам, барыни ходили по гостиному двору, когда ватага цыган, исправник, кавалерист, красивый молодой человек, Ильин и граф в синей медвежьей шубе вышли на крыльцо гостиницы. Был солнечный деиь и оттепель. Три ямские тройки с коротко подвязанными хвостами, шлепая ногами по жидкой грязи, подъехали к крыльцу, и вся веселая компания начала рассаживаться. Граф, Ильии, Стешка, Илюшка и Сашка-деищик сели в первые сани. Блюхер выходил из себя и, махая хвостом, лаял на корениую. В другие саии уселись другие господа, тоже с цыганками и цыганами. От самой гостиницы сани выравнялись, и цыгане затянули хоровую песню.

Тройки с песнями и колокольчиками, сбивая на самые тротуары всех встречавшихся проезжающих, проехали весь город до заставы.

Немало дивились купцы и прохожие, иезнакомые и особенно знакомые, видя благородных дворян, едущих среди белого дня по улицам с песнями, цыганками и пьяными цыганами.

Когда выехали за заставу, тройки остаиовились, и все стали прощаться с графом.

Ильин, выпивший довольно миого на прощанье и все время правивший сам лошадьми, вдруг сделался печален, стал уговаривать графа остаться еще на деиек, ио когда убедился, что это было невозможио, совершеино иеожидаиио, со слезами, бросился целовать своего иового друга и обещал, что, как приедет, будет просить о переводе в гусары в тот самый полк, в котором служил Турбии. Граф был особеиио весел, кавалериста, который утром уже окончательно говорил ему «ты», толкнул в сугроб, исправника травил Блюхером, Стешку подхватил на руки и хотел увезти с собой в Москву и иаконец вскочил в сани, усадил рядом с собой Блюхера, который все хотел стоять иа середиие, Сашка, попросив еще раз кавалериста отобрать-таки у *них* графскую шинель и прислать ее, тоже вскочил на козлы. Граф крикнул: «Пошел!», сняв фуражку, замахал ею над головой и по-ямски засвистал на лошадей. Тройки разъехались.

Далеко впереди виднелась однообразная снежная равиина, по которой извивалась желтовато-грязная полоса дороги. Яркое солнце, играя, блестело на талом, прозрачной корой обледеневшем снегу и приятно пригревало лицо и спину. От потных лошадей валил пар. Колокольчик побрякивал. Какой-то мужичок с возом на раскатывающихся санишках, подергивая веревочными вожжами, торопливо сторонился, бегом шлепая промокнувшими лаптишками по оттаявшей дороге; толстая, красная крестьянская баба с ребенком за овчиной пазухой сидела иа другом возу, погоняя концами вожжей белую шелохвостую клячонку. Графу вдруг вспомнилась Анна Федоровна.

— Назад! — крикнул ои.

Ямщик ие понял вдруг.

— Поворачивай назад! пошел в город! живо!

Тройка опять проехала заставу и бойко подкатила к дощатому крыльцу дома госпожи Зайцевой. Граф быстро взбежал иа лестницу, прошел переднюю, гостиную и, застав вдовушку еще спящею, взял ее иа руки, приподнял с постели, поцеловал в заспанные глазки и живо выбежал назад. Анна Федоровна спросоиков только облизывалась и спрашивала: «Что случилось?» Граф вскочил в сани, крикнул иа ямщика и, уже ие останавливаясь и даже не вспоминая ни о Лухнове, ии о вдовушке, ии о Стешке, а только думая о том, что его ожидало в Москве, выехал навсегда из города К.

IX

Прошло лет двадцать. Много воды утекло с тех пор, много людей умерло, много родилось, много выросло и состарелось, еще больше родилось и умерло мыслей; много прекрасиого и миого дурного старого погибло, много прекрасного и молодого выросло и еще больше недоросшего, уродливого молодого появилось на свет божий.

Граф Федор Турбии уже давно был убит иа дуэли с каким-то иностраицем, которого он высек арапником иа улице; сын, две капли воды похожий на иего, был уже двадцатитрехлетний прелестиый юноша и служил в кавалергардах. Молодой граф Турбин морально вовсе ие был похож на отца. Даже и тени в ием ие было тех буйных, страстных и, говоря правду, развратных иаклонностей прошлого века. Вместе с умом, образоваиием и наследствеииой даровитостью иатуры любовь к приличию и удобствам жизни, практический взгляд иа людей и обстоятельства, благоразумие и предусмотрительиость были его отличительными качествами. По службе молодой граф шел славио: двадцати трех лет уже был поручиком... При открытии военных действий ои решил, что выгоднее для производства перейти в действующую армию, и перешел в гусарский полк ротмистром, где и получил скоро эскадрон.

В мае месяце 1848 года С. гусарский полк проходил походом К. губернию, и тот самый эскадрои, которым комаидовал молодой граф Турбии, должен был иочевать в Морозовке, деревне Анны Федоровиы. Анна Федоровиа была жива, ио уже так немолода, что сама не считала себя больше молодою, что много зиачит для женщины. Она очень растолстела, что, говорят, молодит женщину; но и иа этой белой толщиие были заметны крупные, мягкие морщииы. Оиа уж ие ездила иикогда в город, с трудом даже влезала в экипаж, но

так же была добродушна и все так же глупенька,— можно теперь сказать правду, когда она уже не подкупает своей красотой. С ней вместе жили ее дочь Лиза, двадцатитрехлетняя русская деревенская красавица, и братец, нам знакомый кавалерист, промотавший по добродушию все свое имеиьице и стариком приютившийся у Анны Федоровны. Волоса на голове его были седые совершенно; верхняя губа упала, но над нею усы тщательно были вычернены. Морщины покрывали не только его лоб и щеки, но даже нос и шею, спина согнулась; а все-таки в слабых кривых ногах видны были приемы старого кавалериста.

В небольшой гостиной старого домика, с открытыми балконной дверью и окнами на старинный звездообразный липовый сад, сидело все семейство и домашние Анны Федоровны. Анна Федоровна, с седой головой, в лиловой кацавейке, на диване перед круглым столом красного дерева раскладывала карты. Старый братец, расположившись у окна, в чистеньких белых панталончиках и синем сюртучке, вязал на рогульке снурочек из белой бумаги — занятие, которому его научила племянница и которое он очень полюбил, так как делать он уж ничего не мог и для чтения газеты, любимого его занятия, глаза уже были слабы. Пимочка, воспитанница Анны Федоровны, подле него твердила урок под руководством Лизы, вязавшей вместе с тем на деревянных спицах чулки из козьего пуха для дяди. Последние лучи заходящего солнца, как и всегда в эту пору, бросали сквозь липовую аллею раздробленные косые лучи на крайнее окно и этажерку, стоявшую около него. В саду и в комнате было так тихо, что слышалось, как за окном быстро прошумит крыльями ласточка, или в комнате тихо вздохнет Анна Федоровна, или покряхтит старичок, перекладывая ногу на ногу.

— Как это кладется? Лизанька, покажи-ка. Я все забываю,— сказала Анна Федоровна, остановясь в раскладывании пасьянса.

Лиза, не переставая работать, подошла к матери и взглянула на карты.

— Ах, вы перепутали, голубушка мамаша! — сказала она, перекладывая карты,— вот так надо было. Все-таки сбудется, что вы загадали,— прибавила она, незаметно снимая одну карту.

— Ну, уж ты всегда меня обманываешь: говоришь, что вышло.

— Нет, право, значит удастся. Вышло.

— Ну, хорошо, хорошо, баловница! Да не пора ли чаю?

— Я уж велела разогревать самовар. Сейчас пойду. Вам сюда принести?.. Ну, кончай, Пимочка, скорей урок и пойдем бегать.

И Лиза вышла из двери.

— Лизочка! Лизанька! — заговорил дядя, пристально вглядываясь в свою рогульку,— опять, кажется, спустил петлю. Подними, голубчик!

— Сейчас, сейчас! только сахар отдам наколоть.

И действительно, она через три минуты вбежала в комнату, подошла к дяде и взяла его за ухо.

— Вот вам, чтобы не спускали петлей,— сказала она, смеясь,— урок и не довязали.

— Ну, полно, полно; поправь же, какой-то узелочек было видно.

Лиза взяла рогульку, вынула булавку у себя из косыночки, которую при этом распахнуло немного ветром из окна, и как-то булавочкой добыла петлю, протянула раза два и передала рогульку дяде.

— Ну, поцелуйте же меня за это,— сказала она, подставив ему румяную щечку и закалывая косынку,— вам с ромом нынче чаю? Нынче ведь пятница.

И она опять ушла в чайную.

— Дяденька, идите смотреть: гусары идут к нам! — послышался оттуда звучный голосок.

Анна Федоровна вместе с братцем вошли в чайную комнату, из которой окна были на деревню, посмотреть гусаров. Из окна очень мало было видно, заметно было только сквозь пыль, что какая-то толпа двигается.

— А жаль, сестрица,— заметил дядя Анне Федоровне,— жаль, что так тесно и флигель не отстроен еще: попросить бы к нам офицеров. Гусарские офицеры — ведь это все такая молодежь славная, веселая; посмотрел бы хоть на них.

— Что ж, я бы душой рада; да ведь вы сами знаете, братец, что негде: моя спальня, Лизина горница, гостиная да вот эта ваша комната — вот и всё. Где же их тут поместить, сами посудите. Им старостину избу очистил Михайло Матвеев; говорит — чисто тоже.

— А мы бы тебе, Лизочка, из них жениха приискали, славного гусара! — сказал дядя.

— Нет, я не хочу гусара; я хочу улана: ведь вы в уланах служили, дядя?.. А я этих знать не хочу. Они все отчаянные, говорят.

И Лиза покраснела немного, но снова засмеялась своим звучным смехом.

— Вот и Устюшка бежит; надо спросить ее, что видела,— сказала она.

Анна Федоровна велела позвать Устюшку.

— Нет того, чтоб посидеть за работой; какая надобность бегать на солдат смотреть,— сказала Анна Федоровна.— Ну, что, где поместились офицеры?

— У Еремкиных, сударыня. Два их, красавцы такие! Один граф, сказывают.

— А фамилия как?

— Казаров ли, Турбинов ли; не запомнила, виновата-с.

— Вот дура, ничего и рассказать не умеет. Хоть бы узнала, как фамилия.

— Что ж, я сбегаю.

— Да уж я знаю, что ты на это мастерица,— нет, пускай Данило сходит; скажите ему, братец, чтоб он сходил да спросил, не нужно ли чего-нибудь офицерам-то; все учти-

вость надо сделать, что барыня, мол, спросить велела.

Старики снова уселись в чайную, а Лиза пошла в девичью положить в ящик наколотый сахар. Устюша рассказывала там про гусаров.

— Барышня, голубушка, вот красавчик этот граф-то,— говорила она,— просто херувимчик чернобровый. Вот бы вам такого женишка, так уж точно бы парочка была.

Другие горничные одобрительно улыбнулись; старая няня, сидевшая у окна с чулком, вздохнула и прочитала даже, втягивая в себя дух, какую-то молитву.

— Так вот как тебе понравились гусары,— сказала Лиза,— да ведь ты мастерица рассказывать. Принеси, пожалуйста, морсу, Устюша,— кисленьким гусаров поить.

И Лиза, смеясь, с сахарницей вышла из комнаты.

«А хотелось бы посмотреть, что это за гусар такой,— думала она,— брюнет или блондин? И он ведь рад бы был, я думаю, познакомиться с нами. А пройдет, так и не узнает, что я тут была и об нем думала. И сколько уж этаких прошло мимо меня. Никто меня не видит, кроме дяденьки да Устюши. Как бы я ни зачесалась, какие бы рукава ни надела, никто и не полюбуется,— подумала она, вздохнув, глядя на свою белую, полную руку.— Он должен быть высок ростом, большие глаза, верно, маленькие черные усики. Нет, вот уж двадцать два года минуло, а никто в меня не влюблялся, кроме Ивана Ипатыча рябого; а четыре года тому назад я еще лучше была; и так, никому не на радость, прошла моя девичья молодость. Ах, я несчастная, несчастная деревенская барышня».

Голос матери, звавший ее разливать чай, вызвал деревенскую барышню из этой минутной задумчивости. Она встряхнула головкой и вошла в чайную.

Лучшие вещи всегда выходят нечаянно: а чем больше стараешься, тем выходит хуже. В деревнях редко стараются давать воспитание и потому нечаянно большею частию дают прекрасное. Так и случилось, в особенности с Лизой. Анна Федоровна, по ограниченности ума и беззаботности нрава, не давала никакого воспитания Лизе: не учила ее ни музыке, ни столь полезному французскому языку, а нечаянно родила от покойного мужа здоровенькое, хорошенькое дитя — дочку, отдала ее кормилице и няньке, кормила ее, одевала в ситцевые платьица и козловые башмачки, посылала гулять и сбирать грибы и ягоды, учила ее грамоте и арифметике посредством нанятого семинариста — и нечаянно чрез шестнадцать лет увидела в Лизе подругу и всегда веселую, добродушную и деятельную хозяйку в доме. У Анны Федоровны, по добродушию ее, всегда бывали воспитанницы или из крепостных, или из подкидышей. Лиза с десяти лет уже стала заниматься ими: учить, одевать, водить в церковь и останавливать, когда они уже слишком шалили. Потом явился дряхлый, добродушный дядя, за которым надо было ходить, как за ребенком. Потом дворовые и мужики, обращавшиеся к молодой барышне с просьбами и с недугами, которые она лечила бузиной, мятой и камфарным спиртом. Потом домашнее хозяйство, перешедшее нечаянно все в ее руки. Потом неудовлетворенная потребность любви, находившая выражение в одной природе и религии. И из Лизы нечаянно вышла деятельная, добродушно-веселая, самостоятельная, чистая и глубоко религиозная женщина. Правда, были маленькие тщеславные страдания при виде соседок в модных шляпках, привезенных из К., стоящих рядом с ней в церкви; были досады до слез на старую, ворчливую мать за ее капризы; были и любовные мечты в самых нелепых и иногда грубых формах,— но полезная и сделавшаяся необходимостью деятельность разгоняла их, и в двадцать два года ни одного пятна, ни одного угрызения не запало в светлую, спокойную душу полной физической и моральной красоты развившейся девушки. Лиза была среднего роста, скорее полная, чем худая; глаза у ней были карие, небольшие, с легким темным оттенком на нижнем веке; длинная русая коса. Походка у ней была широкая, с развальцем — уточкой, как говорится. Выражение лица ее, когда она была занята делом и ничто особенно не волновало ее, так и говорило всем, кто вглядывался в него: хорошо и весело жить тому на свете, у кого есть кого любить и совесть чиста. Даже в минуты досады, смущения, тревоги или печали сквозь слезу, нахмуренную левую бровку, сжатые губки так и светилось, как назло ее желанию, на ямках щек, на краях губ и в блестящих глазках, привыкших улыбаться и радоваться жизнью,— так и светилось не испорченное умом, доброе, прямое сердце.

X

Было еще жарко в воздухе, хотя солнце уже спускалось, когда эскадрон вступал в Морозовку. Впереди, по пыльной улице деревни, рысцой, оглядываясь и с мычаньем изредка останавливаясь, бежала отбившаяся от стада пестрая корова, никак не догадываясь, что надо было просто своротить в сторону. Крестьянские старики, бабы, дети и дворовые жадно смотрели на гусар, толпясь по обеим сторонам улицы. В густом облаке пыли, на вороных, замундштученных, изредка пофыркивающих конях, топая, двигались гусары. С правой стороны эскадрона, распущенно сидя на красивых вороных лошадях, ехали два офицера. Один был командир, граф Турбин, другой — очень молодой человек, недавно произведенный из юнкеров, Полозов.

Из лучшей избы вышел гусар в белом кителе и, сняв фуражку, подошел к офицерам.

— Где квартира для нас отведена? — спросил его граф.

— Для вашего сиятельства? — отвечал квартирьер, вздрогнув всем телом,— здесь, у старосты, избу очистил. Требовал на барском дворе, так говорят: нетути. Помещица такая злющая.

— Ну, хорошо,— сказал граф, слезая и расправляя ноги у старостиной избы,— а что, коляска моя приехала?

— Изволила прибыть, ваше сиятельство! — отвечал квартирьер, указывая фуражкой на кожаный кузов коляски, видневшийся в воротах, и бросаясь вперед в сени избы, набитой крестьянским семейством, собравшимся посмотреть на офицеров. Одну старушку он даже столкнул с ног, бойко отворяя дверь в очищенную избу и сторонясь перед графом.

Изба была довольно большая и просторная, но не совсем чистая. Немец-камердинер, одетый как барин, стоял в избе и, уставив железную кровать и постлав ее, разбирал белье из чемодана.

— Фу, мерзость какая квартира! — сказал граф с досадой.— Дяденко! разве нельзя было лучше отвести, у помещика где-нибудь?

— Коли ваше сиятельство прикажете, я пойду выгоню кого на барский двор,— отвечал Дяденко,— да домишко-то некорыстный, не лучше избы показывает.

— Теперь уж не надо. Ступай.

И граф лег на постель, закинув за голову руки.

— Иоган!— крикнул он на камердинера,— опять бугор посередине сделал! Как ты не умеешь постелить хорошенько.

Иоган хотел поправить.

— Нет, уж не надо теперь... А халат где?— продолжал он недовольным голосом.

Слуга подал халат.

Граф, прежде чем надевать его, посмотрел полу.

— Так и есть: не вывел пятна. То есть можно ли хуже тебя служить!— прибавил он, вырывая у него из рук халат и надевая его,— ты, скажи, это нарочно делаешь?.. Чай готов?..

— Я не мог успевать,— отвечал Иоган.

— Дурак!

После этого граф взял приготовленный французский роман и довольно долго молча читал его; а Иоган вышел в сени раздувать самовар. Видно было, что граф был в дурном расположении духа,— должно быть, под влиянием усталости, пыльного лица, узкого платья и голодного желудка.

— Иоган!— крикнул он снова,— подай счет десяти рублей. Что ты купил в городе?

Граф посмотрел поданный счет и сделал недовольные замечания насчет дороговизны покупок.

— К чаю рому подай.

— Рому не покупал,— сказал Иоган.

— Отлично! сколько раз я тебе говорил, чтоб был ром!

— Денег недоставало.

— Отчего же Полозов не купил? Ты бы у его человека взял.

— Корнет Полозов? не знаю. Они купили чаю и сахару.

— Скотина!.. Ступай!.. Только ты один умеешь меня выводить из терпения... знаешь, что я всегда пью чай в походе с ромом.

— Вот два письма из штаба к вам,— сказал камердинер.

Граф лежа распечатал письма и начал читать. Вошел с веселым лицом корнет, отводивший эскадрон.

— Ну что, Турбин? Тут, кажется, хорошо. А устал-таки я, признаюсь. Жарко было.

— Очень хорошо! Поганая вонючая изба и рому нет по твоей милости: твой болван не купил, и этот тоже. Ты бы хоть сказал.

И он продолжал читать. Дочитав до конца письмо, он смял его и бросил на пол.

— Отчего же ты не купил рому?— спрашивал в это время в сенях корнет шепотом у своего денщика,— ведь у тебя деньги были?

— Да что ж мы одни все покупать будем! И так все я расход держу; а ихний немец только трубку курит, да и все.

Второе письмо было, видно, не неприятно, потому что граф, улыбаясь, читал его.

— От кого это?— спросил Полозов, возвратясь в комнату и устраивая себе ночлег на досках подле печки.

— От Мины,— весело отвечал граф, подавая ему письмо.— Хочешь прочесть? Что это за прелесть женщина!.. Ну, право, лучше наших барышень... Посмотри, сколько тут чувства и ума, в этом письме!.. Одно нехорошо — денег просит.

— Да, это нехорошо,— заметил корнет.

— Я ей, правда, обещал; да тут поход, да и... впрочем, ежели прокомандую еще месяца три эскадроном, я ей пошлю. Не жалко, право! что за прелесть!.. а?— говорил он, улыбаясь, следя глазами за выражением лица Полозова, который читал письмо.

— Безграмотно ужасно, но мило, и кажется, что она точно тебя любит,— отвечал корнет.

— Гм! еще бы! Только эти женщины и любят истинно, когда уж любят.

— А то письмо от кого?— спросил корнет, передавая то, которое он читал.

— Так... это там есть господин один, дрянной очень, которому я должен по картам, и он уже третий раз напоминает... не могу я отдать теперь... глупое письмо!— отвечал граф, видимо, огорченный этим воспоминанием.

Довольно долго после этого разговора оба офицера молчали. Корнет, видимо, находившийся под влиянием графа, молча пил чай, изредка поглядывая на красивую отуманившуюся наружность Турбина, пристально глядевшего в окно, и не решался начать разговора.

— А что, ведь может отлично выйти,— вдруг, обернувшись к Полозову и весело тряхнув головой, сказал граф,— ежели у нас по

линии будет в нынешнем году производство, да еще в дело попадем, я могу своих ротмистров гвардии перегнать.

Разговор н за вторым стаканом чаю продолжался на эту тему, когда вошел старый Данило и передал приказание Анны Федоровны.

— Да еще приказали спросить, не сынок ли изволите быть графа Федора Иваныча Турбина?— добавил от себя Данило, узнавший фамилию офицера н помнившнй еще приезд покойного графа в город К.— Наша барыня, Анна Федоровна, очень с ними знакомы были.

— Это мой отец был; да доложи барыне, что очень благодарен, ннчего не нужно, только, мол, приказали просить, ежели бы можно, комнатку почнще где-ннбудь, в доме или где-нибудь.

— Ну, зачем ты это?— сказал Полозов, когда Даннло вышел,— разве не все равно? одна ночь здесь разве не все равно; а онн будут стесняться.

— Вот еще! Кажется, довольно мы пошлялись по курным нзбам!.. Сейчас видно, что ты непрактический человек... Отчего же не воспользоваться, когда можно хоть на одну ночь поместиться как людям? А онн, напротнв, ужасно довольны будут. Одно только противно: ежели эта барыня точно знала отца,— продолжал граф, открывая улыбкой свон белые, блестящие зубы,— как-то всегда совестно за *папашу* покойного: всегда какая-нибудь история скандальная или долг какой-ннбудь. От этого я терпеть не могу встречать этнх отцовских знакомых. Впрочем, тогда век такой был,— добавил он уже серьезно.

— А я тебе не рассказывал,— сказал Полозов,— я как-то встретнл уланской бригады командира Ильина. Он тебя очень хотел видеть и без памяти любит твоего отца.

— Он, кажется, ужасная дрянь, этот Ильин. А главное, что все этн господа, которые уверяют, что знали моего отца, чтоб подделаться ко мне, и, как будто очень милые вещи, рассказывают про отца такие штуки, что слушать совестно. Оно правда, я не увлекаюсь н беспристрастно смотрю на вещн,— он был слишком пылкий человек, нногда н не совсем хорошие штуки делал. Впрочем, все дело времени. В наш век он, может быть, вышел бы н очень дельный человек, потому что способности-то у него были огромные, надо отдать справедливость.

Через четверть часа вернулся слуга н передал просьбу помещнцы пожаловать ночевать в доме.

XI

Узнав, что гусарскнй офицер был сын графа Федора Турбина, Анна Федоровна захлопоталась.

— А, батюшки мои! голубчик он мой!.. Данило! скорей беги, скажи: барыня к себе просит,— заговорила она, вскакнвая и скорыми шагами направляясь в девичью.— Лизанька! Устюшка! прнготовить надо твою комнату, Лиза. Ты перейди к дяде; а вы, братец... братец! вы в гостиной уж ночуйте. Одну ночь ннчего.

— Ничего, сестрица! я на полу лягу.

— Красавчик, я чай, коли на отца похож. Хоть погляжу на него, на голубчика... Вот ты посмотри, Лиза! А отец красавец был... Куда несешь стол? оставь тут,— суетилась Анна Федоровна,— да две кровати принеси — одну у приказчика возьми; да на этажерке подсвечник хрустальный возьми, что мне братец в нменины подарил, н калетовскую свечу поставь.

Наконец все было готово. Лнза, несмотря на вмешательство матерн, устронла по-своему свою комнатку для двух офицеров. Она достала чнстое, надушенное резедой постельное белье н прнготовила постели; велела поставнть графин воды н свечн подле на столике; накурила бумажкой в девичьей н сама перебралась с своею постелькой в комнату дяди. Анна Федоровна успокоилась немного, уселась опять на свое место, взяла было даже в руки карты, но, не раскладывая нх, оперлась на пухлый локоть и задумалась. «Времечко-то, времечко как летнт!— шепотом про себя твердила она.— Давно ли, кажется? как теперь гляжу на него. Ах, шалун был!— И у нее слезы выступнли на глаза.— Теперь Лизанька... но все она не то, что я была в ее года-то... хороша девочка, но нет, не то...»

— Лизанька, ты бы платьнце муслнн-деленевое надела к вечеру.

— Да разве вы нх будете звать, мамаша? Лучше не надо,— отвечала Лиза, нспытывая непреодолимое волнение при мысли видеть офицеров,— лучше не надо, мамаша!

Действительно, она не столько желала их видеть, сколько боялась какого-то волнующего счастия, которое, как ей казалось, ожидало ее.

— Может быть, самн захотят познакомнться, Лнзочка!— сказала Анна Федоровна, гладя ее по волосам н вместе с тем думая: «Нет, не те волоса, какие у меня были в ее годы... Нет, Лизочка, как бы я желала тебе...» И она точно чего-то очень желала для своей дочери; но женнтьбы с графом она не могла предполагать, тех отношений, которые былн с отцом его, она не могла желать,— но чего-то такого она очень-очень желала для своей дочерн. Ей хотелось, может быть, пожнть еще раз в душе дочери той же жизнью, которою она жнла с покойннком.

Старичок кавалерист тоже был несколько взволнован приездом графа. Он вышел в свою комнату и заперся в ней. Через четверть часа он явнлся оттуда в венгерке и голубых панталонах н с смущенно-довольным выражением лица, с которым девушка в первый раз наде-

вает бальное платье, пошел в назначенную для гостей комнату.

— Посмотрю на нынешних гусаров, сестрица! Покойник граф точно истинный гусар был. Посмотрю, посмотрю.

Офицеры пришли уже с заднего крыльца в назначенную для них комнату.

— Ну, вот видишь ли,— сказал граф, как был, в пыльных сапогах, ложась на приготовленную постель,— разве тут не лучше, чем в избе с тараканами!

— Лучше-то лучше, да как-то обязываться хозяевам...

— Вот вздор! Надо во всем быть практическим человеком. Они ужасно довольны, наверно... Человек!— крикнул он,— спроси чего-нибудь завесить это окошко, а то ночью дуть будет.

В это время вошел старичок знакомиться с офицерами. Он, хотя и краснея несколько, разумеется не преминул рассказать о том, что был товарищем покойного графа, что пользовался его расположением, и даже сказал, что он не раз был облагодетельствован покойником. Разумел ли он под благодеяниями покойного то, что тот так и не отдал ему занятых ста рублей, или то, что бросил его в сугроб, или что ругал его,— старичок не объяснил нисколько. Граф был весьма учтив с старичком кавалеристом и благодарил за помещение.

— Уж извините, что не роскошно, граф (он чуть было не сказал: ваше сиятельство,— так уж отвык от обращения с важными людьми), домик сестрицы маленький. А вот это сейчас завесим чем-нибудь, и будет хорошо,— прибавил старичок и, под предлогом занавески, но главное, чтоб рассказать поскорее про офицеров, шаркая, вышел из комнаты.

Хорошенькая Устюша с барыниной шалью пришла завесить окно. Кроме того, барыня приказала ей спросить, не угодно ли господам чаю.

Хорошее помещение, по-видимому, благоприятно подействовало на расположение духа графа: он, весело улыбаясь, пошутил с Устюшей, так что Устюша назвала его даже шалуном, расспросил ее, хороша ли их барышня, и на вопрос ее, не угодно ли чаю, отвечал, что чаю, пожалуй, пусть принесут, а главное, что свой ужин еще не готов, так нельзя ли теперь водки, закусить чего-нибудь и хересу, ежели есть.

Дядюшка был в восторге от учтивости молодого графа и превозносил до небес молодое поколение офицеров, говоря, что нынешние люди не в пример авантажнее прежних.

Анна Федоровна не соглашалась — лучше графа Федора Иваныча никто не был,— и наконец уже серьезно рассердилась, сухо замечала только, что «для вас, братец, кто последний вас обласкал, тот и лучше. Известно, теперь, конечно, люди умнее стали, а что все-таки граф Федор Иваныч так танцевал экосес и так любезен был, что тогда все, можно сказать, без ума от него были; только он ни с кем, кроме меня, не занимался. Стало быть, и в старину были хорошие люди».

В это время пришло известие о требовании водки, закуски и хереса.

— Ну вот, как же вы, братец! Вы всегда не то сделаете. Надо было заказать ужинать,— заговорила Анна Федоровна.— Лиза! распорядись, дружок!

Лиза побежала в кладовую за грибками и свежим сливочным маслом, повару заказали битки.

— Только хересу у вас осталось, братец?

— Нету, сестрица! у меня и не было.

— Как же нету! а вы что-то пьете такое с чаем?

— Это ром, Анна Федоровна.

— Разве не все равно? Вы дайте этого, все равно — ром. Да уж не попросить ли их лучше сюда, братец? Вы всё знаете. Они, кажется, не обидятся?

Кавалерист объявил, что он ручается за то, что граф по доброте своей не откажется и что он приведет их непременно. Анна Федоровна пошла надеть для чего-то платье гро-гро и новый чепец; а Лиза так была занята, что и не успела снять розового холстинкового платья с широкими рукавами, которое было на ней. Притом она была ужасно взволнована: ей казалось, что ждет ее что-то поразительное, точно низкая черная туча нависла над ее душой. Этот граф-гусар, красавец, казался ей каким-то совершенно новым для нее, непонятным, но прекрасным существом. Его нрав, его привычки, его речи — все должно было быть такое необыкновенное, какого она никогда не встречала. Все, что он думает и говорит, должно быть умно и правда; все, что он делает, должно быть честно; вся его наружность должна быть прекрасна. Она не сомневалась в этом. Ежели бы он не только потребовал закуски и хересу, но ванну из шалфея с духами, она бы не удивилась, не обвиняла бы его и была бы твердо уверена, что это так нужно и должно.

Граф тотчас же согласился, когда кавалерист выразил ему желание сестрицы, причесал волосы, надел шинель и взял сигарочницу.

— Пойдем же,— сказал он Полозову.

— Право, лучше не ходить,— отвечал корнет,— ils feront des frais pour nous recevoir[1].

— Вздор! это их осчастливит. Да я уж и навел справки: там дочка хорошенькая есть... Пойдем,— сказал граф по-французски.

— Je vous en prie, messieurs![2]— сказал кавалерист только для того, чтобы дать почувствовать, что и он знает по-французски и понял то, что сказали офицеры.

---

[1] они израсходуются для того, чтобы принять нас (*фр.*).

[2] Прошу вас, господа! (*фр.*)

XII

Лиза покраснела и, потупясь, будто бы занялась доливанием чайника, боясь взглянуть на офицеров, когда они вошли в комнату. Анна Федоровна, напротив, торопливо вскочила, поклонилась и, не отрывая глаз от лица графа, начала говорить ему, то находя необыкновенное сходство с отцом, то рекомендуя свою дочь, то предлагая чаю, варенья или пастилы деревенской. На корнета, по его скромному виду, никто не обращал внимания, чему он был очень рад, потому что, сколько возможно было прилично, всматривался и до подробностей разбирал красоту Лизы, которая, как видно, неожиданно поразила его. Дядя, слушая разговор сестры с графом, с готовой речью на устах выжидал случая порассказать свои кавалерийские воспоминания. Граф за чаем, закурив свою крепкую сигару, от которой с трудом сдерживала кашель Лиза, был очень разговорчив, любезен, сначала, в промежутки непрерывных речей Анны Федоровны, вставляя свои рассказы, а под конец один овладев разговором. Одно немного странно поражало его слушателей: в рассказах своих он часто говорил слова, которые, не считаясь предосудительными в его обществе, здесь были несколько смелы, причем Анна Федоровна пугалась немного, а Лиза до ушей краснела; но граф не замечал этого и был все так же спокойно прост и любезен. Лиза молча наливала стаканы, не подавая в руки гостям, ставила их поближе к ним и, еще не оправясь от волнения, жадно вслушивалась в речи графа. Его незамысловатые рассказы, запинки в разговоре понемногу успокоивали ее. Она не слышала от него предполагаемых ею очень умных вещей, не видела той изящности во всем, которую она смутно ожидала найти в нем. Даже при третьем стакане чаю, после того как робкие глаза ее встретились раз с его глазами и он не опустил их, а как-то слишком спокойно продолжал, чуть-чуть улыбаясь, глядеть на нее, она почувствовала себя даже несколько враждебно расположенной к нему и скоро нашла, что не только ничего не было в нем особенного, но он нисколько не отличался от всех тех, кого она видела, что не стоило бояться его,— только ногти чистые, длинные, а даже и красоты особенной нет в нем. Лиза вдруг, не без некоторой внутренней тоски расставшись с своей мечтой, успокоилась, и только взгляд молчаливого корнета, который она чувствовала устремленным на себя, беспокоил ее. «Может быть, это не он, а он!» — думала она.

XIII

После чаю старушка пригласила гостей в другую комнату и снова уселась на свое место.

— Да вы отдохнуть не хотите ли, граф?— спрашивала она.— Так чем бы вас занять, дорогих гостей?— продолжала она после отрицательного ответа.— Вы играете в карты, граф? Вот бы вы, братец, заняли, партию бы составили во что-нибудь...

— Да ведь вы сами играете в преферанс,— отвечал кавалерист,— так уж вместе давайте. Будете, граф? и вы будете?

Офицеры изъявили согласие делать все то, что угодно будет любезным хозяевам.

Лиза принесла из своей комнаты свои старые карты, в которые она гадала о том, скоро ли пройдет флюс у Анны Федоровны, вернется ли нынче дядя из города, когда он уезжал, приедет ли сегодня соседка и т. д. Карты эти, хотя служили уже месяца два, были почище тех, в которые гадала Анна Федоровна.

— Только вы не станете по маленькой играть, может быть?— спросил дядя.— Мы играем с Анной Федоровной по полкопейки... И то она нас всех обыгрывает.

— Ах, по чем прикажете, я очень рад,— отвечал граф.

— Ну, так по копейке ассигнациями! уж для дорогих гостей идет: пускай они меня обыграют, старуху,— сказала Анна Федоровна, широко усаживаясь в своем кресле и расправляя свою мантилию.

«А может, и выиграю у них целковый»,— подумала Анна Федоровна, получившая под старость маленькую страсть к картам.

— Хотите, я вас выучу с табелькой играть,— сказал граф,— и с мизерами! Это очень весело.

Всем очень понравилась новая петербургская манера. Дядя уверял даже, что он ее знал, и это то же, что в бостон было, но забыл только немного. Анна же Федоровна ничего не поняла и так долго не понимала, что нашлась вынужденной, улыбаясь и одобрительно кивая головой, утверждать, что теперь она поймет и все для нее ясно. Немало было смеху в середине игры, когда Анна Федоровна с тузом и королем бланк говорила мизер и оставалась с шестью. Она даже начинала теряться, робко улыбаться и торопливо уверять, что не совсем еще привыкла по-новому. Однако на нее записывали, и много, тем более, что граф, по привычке играть большую коммерческую игру, играл сдержанно, подводил очень хорошо и никак не понимал толчков под столом ногой корнета и грубых его ошибок в вистованье.

Лиза принесла еще пастилы, трех сортов варенья и сохранившиеся особенного моченья опортовые яблоки и остановилась за спиной матери, вглядываясь в игру и изредка поглядывая на офицеров и в особенности на белые с тонкими розовыми отделанными ногтями руки графа, которые так опытно, уверенно и красиво бросали карты и брали взятки.

Опять Анна Федоровна, с некоторым азартом перебивая у других, докупившись до семи, обремизилась без трех и, по требованию

братца уродливо изобразив какую-то цифру, совершенно растерялась и заторопилась.

— Ничего, мамаша, еще отыграетесь!..— улыбаясь, сказала Лиза, желая вывести мать из смешного положения.— Вы дяденьку обремизьте раз: тогда он попадется.

— Хоть бы ты мне помогла, Лизочка!— сказала Анна Федоровна, испуганно глядя на дочь.— Я не знаю, как это...

— Да и я не знаю по этому играть,— отвечала Лиза, мысленно считая ремизы матери.— А вы этак много проиграете, мамаша! и Пимочке на платье не останется,— прибавила она шутя.

— Да, этак легко можно рублей десять серебром проиграть,— сказал корнет, глядя на Лизу и желая вступить с ней в разговор.

— Разве мы не ассигнациями играем?— оглядываясь на всех, спросила Анна Федоровна.

— Я не знаю как, только я не умею считать ассигнациями,— сказал граф.— Как это? то есть что это ассигнации?

— Да теперь уж никто ассигнациями не считает,— подхватил дядюшка, который играл кремешком и был в выигрыше.

Старушка велела подать шипучки, выпила сама два бокала, раскраснелась и, казалось, на все махнула рукой. Даже одна прядь седых волос выбилась у ней из-под чепца, и она не поправляла ее. Ей, верно, казалось, что она проиграла миллионы и что она совсем пропала. Корнет все чаще и чаще толкал ногой графа. Граф списывал ремизы старушки. Наконец партия кончилась. Как ни старалась Анна Федоровна, кривя душою, прибавлять свои записи и притворяться, что она ошибается в счете и не может счесть, как ни приходила в ужас от величины своего проигрыша, в конце расчета оказалось, что она проиграла девятьсот двадцать призов. «Это ассигнациями выходит девять рублей?»— несколько раз спрашивала Анна Федоровна, и до тех пор не поняла всей громадности своего проигрыша, пока братец, к ужасу ее, не объяснил, что она проиграла тридцать два рубля с полтиной ассигнациями и что их нужно заплатить непременно. Граф даже не считал своего выигрыша, а тотчас по окончании игры встал и подошел к окну, у которого Лиза устанавливала закуску и выкладывала на тарелку грибки из банки к ужину, и совершенно спокойно и просто сделал то, чего весь вечер так желал и не мог сделать корнет,— вступил с ней в разговор о погоде.

Корнет же в это время находился в весьма неприятном положении. Анна Федоровна с уходом графа и особенно Лизы, поддерживавшей ее в веселом расположении духа, откровенно рассердилась.

— Однако как досадно, что мы вас так обыграли,— сказал Полозов, чтоб сказать что-нибудь.— Это просто бессовестно.

— Да еще бы, выдумали какие-то табели да мизеры! Я в них не умею; как же ассигнациями-то, сколько же выходит всего?— спрашивала она.

— Тридцать два рубля, тридцать два с полтинкой,— твердил кавалерист, находясь под влиянием выигрыша в игривом расположении духа,— давайте-ка денежки, сестрица... давайте-ка.

— И дам вам все; только уж больше не поймаете, нет! Это я и в жизнь не отыграюсь.

И Анна Федоровна ушла к себе, быстро раскачиваясь, вернулась назад и принесла девять рублей ассигнациями. Только по настоятельному требованию старичка она заплатила все.

На Полозова нашел некоторый страх, чтобы Анна Федоровна не выбранила его, ежели он заговорит с ней. Он молча потихоньку отошел от нее и присоединился к графу и Лизе, которые разговаривали у открытого окна.

В комнате на накрытом для ужина столе стояли две сальные свечи. Свет их изредка колыхался от свежего, теплого дуновения майской ночи. В окне, открытом в сад, было тоже светло, но совершенно иначе, чем в комнате. Почти полный месяц, уже теряя золотистый оттенок, всплывал над верхушками высоких лип и больше и больше освещал белые тонкие тучки, изредка застилавшие его. На пруде, которого поверхность, в одном месте посеребренная месяцем, виднелась сквозь аллеи, заливались лягушки. В сиреневом душистом кусте под самым окном, изредка медленно качавшем влажными цветами, чуть-чуть перепрыгивали и встряхивались какие-то птички.

— Какая чудная погода!— сказал граф, подходя к Лизе и садясь на низкое окно,— вы, я думаю, много гуляете?

— Да,— отвечала Лиза, не чувствуя почему-то уже ни малейшего смущения в беседе с графом,— я по утрам, часов в семь, по хозяйству хожу, так и гуляю немножко с Пимочкой — маменькиной воспитанницей.

— Приятно в деревне жить!— сказал граф, вставив в глаз стеклышко, глядя то на сад, то на Лизу,— а по ночам, при лунном свете, вы не ходите гулять?

— Нет. А вот в третьем годе мы с дяденькой каждую ночь гуляли, когда луна была. На него странная какая-то болезнь — бессонница находила. Как полная луна, так он заснуть не мог. Комнатка же его, вот эта, прямо на сад, и окошко низенькое: луна прямо к нему ударяла.

— Странно,— заметил граф,— да ведь это ваша комнатка, кажется?

— Нет, я только нынче тут ночую. Мою комнатку вы занимаете.

— Неужели?.. Ах, боже мой!.. Век себе не прощу этого беспокойства,— сказал граф, в знак искренности чувства выбрасывая стек-

лышко из глаза,— ежели бы я знал, что я вас потревожу...

— Что за беспокойство! Напротив, я очень рада: дяденькина комнатка такая чудесная, веселенькая, окошечко низенькое; я буду там себе сидеть, пока не засну, или в сад перелезу, погуляю еще на ночь.

«Экая славная девочка!— подумал граф, снова вставив стеклышко, глядя на нее и, как будто усаживаясь на окне, стараясь ногой тронуть ее ножку.— И как она хитро дала мне почувствовать, что я могу увидеть ее в саду у окна, коли захочу». Лиза даже потеряла в его глазах бо́льшую часть прелести: так легка ему показалась победа над нею.

— А какое, должно быть, наслаждение,— сказал он, задумчиво вглядываясь в темные аллеи,— провести такую ночь в саду с существом, которое любишь.

Лиза смутилась несколько этими словами и повторенным, как будто нечаянным, прикосновением ноги. Она, прежде чем подумала, сказала что-то для того только, чтобы смущение ее не было заметно. Она сказала: «Да, славно в лунные ночи гулять». Ей становилось что-то неприятно. Она увязала банку, из которой выкладывала грибки, и собралась уйти от окна, когда к ним подошел корнет, и ей захотелось узнать, что это за человек такой.

— Какая прелестная ночь!— сказал он.

«Однако только про погоду и разговаривают»,— подумала Лиза.

— Какой вид чудесный!— продолжал корнет,— только вам, я думаю, уж надоело,— прибавил он, по странной, свойственной ему склонности говорить вещи, немного неприятные людям, которые ему очень нравились.

— Отчего ж вы так думаете? кушанье одно и то же, платье — надоест, а сад хороший не надоест, когда любишь гулять, особенно когда месяц еще повыше поднимется. Из дяденькиной комнаты весь пруд видно. Вот я нынче буду смотреть.

— А соловьев у вас нет, кажется?— спросил граф, весьма недовольный тем, что пришел Полозов и помешал ему узнать положительные условия свиданья.

— Нет, у нас всегда были; только в прошлом году охотники одного поймали, и нынче на прошлой неделе славно запел было, да становой приехал с колокольчиком и спугнул. Мы, бывало, в третьем году, сядем с дяденькой в крытой аллее и часа два слушаем.

— Что эта болтушка вам рассказывает?— сказал дядя, подходя к разговаривающим,— закусить не угодно ли?

После ужина, во время которого граф похваливанием кушаний и аппетитом успел как-то рассеять несколько дурное расположение духа хозяйки, офицеры распрощались и пошли в свою комнату. Граф пожал руку дяде, к удивлению Анны Федоровны, и ее руку, не целуя, пожал только, пожал даже и руку Лизы, причем взглянул ей прямо в глаза и слегка улыбнулся своею приятной улыбкой. Этот взгляд снова смутил девушку.

«А очень хорош,— подумала она,— только уж слишком занимается собой».

XIV

— Ну, как тебе не стыдно?— сказал Полозов, когда офицеры вернулись в свою комнату,— я старался нарочно проиграть, толкал тебя под столом. Ну, как тебе не совестно? Ведь старушка совсем огорчилась.

Граф ужасно расхохотался.

— Уморительная госпожа! как она обиделась!

И он опять принялся хохотать так весело, что даже Иоган, стоявший перед ним, потупился и слегка улыбнулся в сторону.

— Вот те и сын друга семейства!.. ха, ха, ха!— продолжал смеяться граф.

— Нет, право, это нехорошо. Мне ее жалко даже стало,— сказал корнет.

— Вот вздор! Как ты еще молод! Что ж, ты хотел, чтоб я проиграл? Зачем же я бы проиграл? И я проигрывал, когда не умел. Десять рублей, братец, пригодятся. Надо смотреть практически на жизнь, а то всегда в дураках будешь.

Полозов замолчал; притом ему хотелось одному думать о Лизе, которая казалась ему необыкновенно чистым, прекрасным созданием. Он разделся и лег в мягкую и чистую постель, приготовленную для него.

«Что за вздор эти почести и слава военная!— думал он, глядя на завешенное шалью окно, сквозь которое прокрадывались бледные лучи месяца.— Вот счастье — жить в тихом уголке, с милой, умной, простой женою! Вот это прочное, истинное счастье!»

Но почему-то он не сообщал этих мечтаний своему другу и даже не упоминал о деревенской девушке, несмотря на то, что был уверен, что и граф о ней думал.

— Что ж ты не раздеваешься?— спросил он графа, который ходил по комнате.

— Не хочется еще спать что-то. Туши свечу, коли хочешь; я так лягу.

И он продолжал ходить взад и вперед.

— Не хочется еще спать что-то,— повторил Полозов, чувствуя себя после нынешнего вечера больше чем когда-нибудь недовольным влиянием графа и расположенным взбунтоваться против него. «Я воображаю,— рассуждал он, мысленно обращаясь к Турбину,— какие в твоей причесанной голове теперь мысли ходят! я видел, как тебе она понравилась. Но ты не в состоянии понять это простое, честное существо; тебе Минну надобно, полковничьи эполеты. Право, спрошу его, как она ему понравилась».

И Полозов было обернулся к нему, но раздумал: он чувствовал, что не только не в состоянии будет спорить с ним, если взгляд графа на Лизу тот, который он предполагал, но что даже не в силах будет не согласиться с ним,— так уж он привык подчиняться влиянию, которое становилось для него с каждым днем тяжелее и несправедливее.

— Куда ты?— спросил он, когда граф надел фуражку и подошел к двери.

— Пойду на конюшню, посмотрю: все ли в порядке.

«Странно!»— подумал корнет, но потушил свечу и, стараясь разогнать нелепо-ревнивые и враждебные к прежнему своему другу мысли, лезшие ему в голову, перевернулся на другой бок.

Анна Федоровна этим временем, перекрестив и расцеловав, по обыкновенно, нежно брата, дочь и воспитанницу, тоже удалилась в свою комнату. Давно уж в один день не испытывала старушка столько сильных впечатлений, так что и молиться она не могла спокойно: все грустно-живое воспоминание о покойном графе и о молодом франтике, который так безбожно обыграл ее, не выходило у нее из головы. Однако же, по обыкновенно, раздевшись, выпив полстакана квасу, приготовленного у постели на столике, она легла в постель. Любимая ее кошка тихо вползла в комнату. Анна Федоровна подозвала ее и стала гладить, вслушиваясь в ее мурлыканье, и все не засыпала.

«Это кошка мешает»,— подумала она и прогнала ее. Кошка мягко упала на пол, медленно поворачивая пушистым хвостом, вскочила на лежанку; но тут девка, спавшая на полу в комнате, принесла стлать свой войлок, тушить свечку и зажигать лампадку. Наконец и девка захрапела; но сон все еще не приходил к Анне Федоровне и не успокоивал ее расстроенного воображения. Лицо гусара так и представлялось ей, когда она закрывала глаза, и, казалось, являлось в различных странных видах в комнате, когда она с открытыми глазами при слабом свете лампадки смотрела на комод, на столик, на висевшее белое платье. То ей казалось жарко в перине, то несносно били часы на столике и невыносимо носом храпела девка. Она разбудила ее и велела перестать храпеть. Опять мысли о дочери, о старом и молодом графе, преферансе странно перемешивались в ее голове. То она видела себя в вальсе с старым графом, видела свои полные белые плечи, чувствовала на них чьи-то поцелуи и потом видела свою дочь в объятиях молодого графа. Опять храпеть начала Устюшка...

«Нет, что-то не то теперь, люди не те. Тот в огонь за меня готов был. Да и было за что. А этот небось спит себе дурак дураком, рад, что выиграл; нет того, чтоб поволочиться. Как тот, бывало, говорит на коленях: «Что ты хочешь, чтоб я сделал: убил бы себя сейчас, и что хочешь?»— и убил бы, коли б я сказала».

Вдруг чьи-то босые шаги раздались по коридору, и Лиза в одном накинутом платке, вся бледная и дрожащая, вбежала в комнату и почти упала к матери на постель...

Простясь с матерью, Лиза одна пошла в бывшую дядину комнату. Надев белую кофточку и спрятав в платок свою густую длинную косу, она потушила свечу, подняла окно и с ногами села на стул, устремив задумчивые глаза на пруд, теперь уже весь блестевший серебряным сияньем.

Все ее привычные занятия и интересы вдруг явились перед ней совершенно в новом свете: старая капризная мать, несудящая любовь к которой сделалась частью ее души, дряхлый, но любезный дядя, дворовые, мужики, обожающие барышню, дойные коровы и телки; вся эта, все та же столько раз умиравшая и обновлявшаяся природа, среди которой с любовью к другим и от других она выросла, все, что давало ей такой легкий, приятный душевный отдых,— все это вдруг показалось не *то,* все это показалось *скучно, ненужно.* Как будто кто-нибудь сказал ей: «Дурочка, дурочка! двадцать лет делала вздор, служила кому-то, зачем-то и не знала, что такое жизнь и счастье!» Она это думала теперь, вглядываясь в глубину светлого, неподвижного сада, сильнее, гораздо сильнее, чем прежде ей случалось это думать. И что навело ее на эти мысли? нисколько не внезапная любовь к графу, как бы это можно было предположить. Напротив, он ей не нравился. Корнет мог бы скорее занимать ее; но он дурен, бедный, и молчалив както. Она невольно забывала его и с злобой и с досадой вызывала в воображении образ графа. «Нет, не то»,— говорила она сама себе. Идеал ее был так прелестен! Это был идеал, который среди этой ночи, этой природы, не нарушая ее красоты, мог бы быть любимым,— идеал, ни разу не обрезанный для того, чтобы слить его с какою-нибудь грубою действительностью.

Сначала уединение и отсутствие людей, которые бы могли обратить ее внимание, сделали то, что вся сила любви, которую в душу каждого из нас одинаково вложило провидение, была еще цела и невозмутима в ее сердце; теперь же уже слишком долго она жила грустным счастием чувствовать в себе присутствие этого чего-то и, изредка открывая таинственный сердечный сосуд, наслаждаться созерцанием его богатств, чтобы необдуманно излить на кого-нибудь все то, что там было. Дай бог, чтобы она до гроба наслаждалась этим скупым счастием. Кто знает, не лучше ли и не сильнее ли оно? и не одно ли оно истинно и возможно?

«Господи боже мой!— думала она,— неужели я даром потеряла счастие и молодость, и уж не будет... никогда не будет? неужели это правда?»— и она вглядывалась в высокое, светлое около месяца небо, покрытое белыми

волнистыми тучами, которые, застилая звездочки, подвигались к месяцу. «Если захватит месяц это верхнее белое облачко, значит правда»,— подумала она. Туманная дымчатая полоса пробежала по нижней половине светлого круга, и понемногу свет стал слабеть на траве, на верхушках лип, на пруде; черные тени дерев стали менее заметны. И, как будто вторя мрачной тени, осенившей природу, легкий ветерок пронесся по листьям и донес до окна росистый запах листьев, влажной земли и цветущей сирени.

«Нет, это неправда,— утешала она себя,— а вот если соловей запоет нынче ночью, то, значит, вздор все, что я думаю, и не надо отчаиваться»,— подумала она. И долго еще сидела молча, дожидаясь кого-то, несмотря на то, что снова все осветилось и ожило и снова несколько раз набегали на месяц тучки и все померкало. Она уже засыпала так, сидя у окна, когда соловей разбудил ее частой трелью, раздававшейся звонко низом по пруду. Деревенская барышня открыла глаза. Опять с новым наслаждением вся душа ее обновилась этим таинственным соединением с природой, которая так спокойно и светло раскинулась перед ней. Она облокотилась на обе руки. Какое-то томительно сладкое чувство грусти сдавило ей грудь, и слезы чистой широкой любви, жаждущей удовлетворения, хорошие, утешительные слезы налились в глаза ее. Она сложила руки на подоконник и на них положила голову. Любимая ее молитва как-то сама пришла ей в душу, и она так и задремала с мокрыми глазами.

Прикосновение чьей-то руки разбудило ее. Она проснулась. Но прикосновение это было легко и приятно. Рука сжимала крепче ее руку. Вдруг она вспомнила действительность, вскрикнула, вскочила и, сама себя уверяя, что не узнала графа, который стоял под окном, весь облитый лунным светом, выбежала из комнаты...

XV

Действительно, это был граф. Услышав крик девушки и кряхтенье сторожа за забором, отозвавшегося на этот крик, он опрометью, с чувством пойманного вора, бросился бежать по мокрой, росистой траве в глубину сада. «Ах я дурак!— твердил он бессознательно.— Я ее испугал. Надо было тише, словами разбудить. Ах, я скотина неловкая!» Он остановился и прислушался: сторож через калитку прошел в сад, волоча палку по песчаной дорожке. Надо было спрятаться. Он спустился к пруду. Лягушки торопливо, заставляя его вздрагивать, побултыкали из-под его ног в воду. Здесь, несмотря на промоченные ноги, он сел на корточки и стал припоминать все, что он делал: как он перелез через забор, искал ее окно и наконец увидал белую тень; как несколько раз, прислушиваясь к малейшему шороху, он подходил и отходил от окна; как то ему казалось несомненно, что она с досадой на его медлительность ожидает его, то казалось, что это невозможно, чтобы она так легко решилась на свидание; как, наконец, предполагая, что она только от конфузливости уездной барышни притворяется, что спит, он решительно подошел и увидал ясно ее положение, но тут вдруг почему-то убежал опрометью назад и, только сильно устыдив трусостью самого себя, подошел к ней смело и тронул ее за руку. Сторож снова крякнул и, скрипнув калиткой, вышел из саду. Окно барышниной комнаты захлопнулось и заставилось ставешком изнутри. Графу это было ужасно досадно видеть. Он бы дорого дал, чтобы только можно было начать опять все сначала: уж теперь бы он не поступил так глупо... «А чудесная барышня! свеженькая какая! просто прелесть! и так прозевал. Глупая скотина я!» Притом спать уже ему не хотелось, и он решительными шагами раздосадованного человека пошел наудачу вперед по дорожке крытой липовой аллеи.

И тут и для него эта ночь приносила свои миротворные дары какой-то успокоительной грусти и потребности любви. Глинистая, кой-где с пробивающейся травкой или сухой веткой, дорожка освещалась кружками, сквозь густую листву лип, прямыми бледными лучами месяца. Какой-нибудь загнутый сук, как обросший белым мхом, освещался сбоку. Листья, серебрясь, шептались изредка. В доме потухли огни, замолкли все звуки; только соловей наполнял собой, казалось, все необъятное молчаливое и светлое пространство. «Боже, какая ночь! какая чудная ночь!— думал граф, вдыхая в себя пахучую свежесть сада.— Чего-то жалко. Как будто недоволен и собой, и другими, и всей жизнью недоволен. А славная, милая девочка. Может быть, она точно огорчилась...» Тут мечты его перемешались, он воображал себя в этом саду вместе с уездной барышней в различных, самых странных положениях; потом роль барышни заняла его любезная Мина. «Экой я дурак! Надо было просто ее схватить за талию и поцеловать». И с этим раскаянием граф вернулся в комнату.

Корнет не спал еще. Он тотчас повернулся на постели лицом к графу.

— Ты не спишь?— спросил граф.

— Нет.

— Рассказать тебе, что было?

— Ну?

— Нет, лучше не рассказывать... или расскажу. Подожми ноги.

И граф, махнув уже мысленно рукой на прозеванную им интрижку, с оживленною улыбкой подсел на постель товарища.

— Можешь себе представить, что ведь барышня эта мне назначила rendez-vous![1]

[1] свиданье! *(фр.)*

— Что ты говоришь?— вскрикнул Полозов, вскакивая с постели.

— Ну, слушай.

— Да как же? Когда же? Не может быть!

— А вот, пока вы считали преферанс, она мне сказала, что будет ночью сидеть у окна и что в окно можно влезть. Вот что значит практический человек! Покуда вы там с старухой считали, я это дельце обделал. Да ведь ты слышал, она при тебе даже сказала, что она будет сидеть нынче у окна, на пруд смотреть.

— Да это она так сказала.

— Вот то-то я и не знаю, нечаянно или нет она это сказала. Может быть, и точно она еще не хотела сразу, только было похоже на то. Вышла-то странная штука. Я дураком совсем поступил!— прибавил он, презрительно улыбаясь на себя.

— Да что же? Где ты был?

Граф, исключая своих нерешительных неоднократных подступов, рассказал все, как было.

— Я сам испортил: надо было смелее. Закричала и убежала от окошка.

— Так она закричала и убежала,— сказал корнет с неловкой улыбкой, отвечая на улыбку графа, имевшую на него такое долгое и сильное влияние.

— Да. Ну, теперь спать пора.

Корнет повернулся опять спиной к двери и молча полежал минут десять. Бог знает, что делалось у него в душе; но когда он повернулся снова, лицо его выражало страдание и решительность.

— Граф Турбин!— сказал он прерывистым голосом.

— Что ты, бредишь или нет?— спокойно отозвался граф.— Что, корнет Полозов?

— Граф Турбин! вы подлец!— крикнул Полозов и вскочил с постели.

XVI

На другой день эскадрон выступил. Офицеры не видали хозяев и не простились с ними. Между собой они тоже не говорили. По приходе на первую дневку предположено было драться. Но ротмистр Шульц, добрый товарищ, отличнейший ездок, любимый всеми в полку и выбранный графом в секунданты, так успел уладить это дело, что не только не дрались, но никто в полку не знал об этом обстоятельстве, и даже Турбин и Полозов хотя не в прежних дружеских отношениях, но остались на «ты» и встречались за обедами и за партиями.

11 апреля 1856 г.

ТРИ СМЕРТИ

Рассказ

I

Была осень. По большой дороге скорой рысью ехали два экипажа. В передней карете сидели две женщины. Одна была госпожа, худая и бледная. Другая — горничная, глянцевито-румяная и полная. Короткие сухие волоса выбивались из-под полинявшей шляпки, красная рука в прорванной перчатке порывисто поправляла их. Высокая грудь, покрытая ковровым платком, дышала здоровьем, быстрые черные глаза то следили через окно за убегающими полями, то робко взглядывали на госпожу, то беспокойно окидывали углы кареты. Перед носом горничной качалась привешанная к сетке барынина шляпка, на коленях ее лежал щенок, ноги ее поднимались от шкатулок, стоявших на полу, и чуть слышно подбарабанивали по ним под звук тряски рессор и побрякиванья стекол.

Сложив руки на коленях и закрыв глаза, госпожа слабо покачивалась на подушках, заложенных ей за спину, и, слегка наморщившись, внутренно покашливала. На голове ее был белый ночной чепчик и голубая косыночка, завязанная на нежной, бледной шее. Прямой ряд, уходя под чепчик, разделял русые, чрезвычайно плоские напомаженные волосы, и было что-то сухое, мертвенное в белизне кожи этого просторного ряда. Вялая, несколько желтоватая кожа неплотно обтягивала тонкие и красивые очертания лица и краснелась на щеках и скулах. Губы были сухи и неспокойны, редкие ресницы не курчавились, и дорожный суконный капот делал прямые складки на впалой груди. Несмотря на то, что глаза были закрыты, лицо госпожи выражало усталость, раздраженье и привычное страданье.

Лакей, облокотившись на свое кресло, дремал на козлах, почтовый ямщик, покрикивая бойко, гнал крупную потную четверку, изредка оглядываясь на другого ямщика, покрикивавшего сзади в коляске. Параллельные широкие следы шин ровно и шибко стлались по известковой грязи дороги. Небо было серо и холодно, сырая мгла сыпалась на поля и дорогу. В карете было душно и пахло одеколоном и пылью. Больная потянула назад голову и медленно открыла глаза. Большие глаза были блестящи и прекрасного темного цвета.

— Опять,— сказала она, нервически отталкивая красивой худощавой рукой конец салопа горничной, чуть-чуть прикасавшийся к ее ноге, и рот ее болезненно изогнулся. Мат-

реша подобрала обеими руками салоп, приподнялась на сильных ногах и села дальше. Свежее лицо ее покрылось ярким румянцем. Прекрасные темные глаза больной жадно следили за движениями горничной. Госпожа уперлась обеими руками о сиденье и также хотела приподняться, чтоб подсесть выше; но силы отказали ей. Рот ее изогнулся, и все лицо ее исказилось выражением бессильной, злой иронии.— Хоть бы ты помогла мне!.. Ах! не нужно! Я сама могу, только не клади за меня свои какие-то мешки, сделай милость!.. Да уж не трогай лучше, коли ты не умеешь!— Госпожа закрыла глаза и, снова быстро подняв веки, взглянула на горничную. Матреша, глядя на нее, кусала нижнюю красную губу. Тяжелый вздох поднялся из груди больной, но вздох, не кончившись, превратился в кашель. Она отвернулась, сморщилась и обеими руками схватилась за грудь. Когда кашель прошел, она снова закрыла глаза и продолжала сидеть неподвижно. Карета и коляска въехали в деревню. Матреша высунула толстую руку из-под платка и перекрестилась.

— Что это?— спросила госпожа.

— Станция, сударыня.

— Что ж ты крестишься, я спрашиваю?

— Церковь, сударыня.

Больная повернулась к окну и стала медленно креститься, глядя во все большие глаза на большую деревенскую церковь, которую объезжала карета больной.

Карета и коляска вместе остановились у станции. Из коляски вышли муж больной женщины и доктор и подошли к карете.

— Как вы себя чувствуете?— спросил доктор, щупая пульс.

— Ну, как ты, мой друг, не устала?— спросил муж по-французски,— не хочешь ли выйти?

Матреша, подобрав узелки, жалась в угол, чтобы не мешать разговаривать.

— Ничего, то же самое,— отвечала больная.— Я не выйду.

Муж, постояв немного, вошел в станционный дом. Матреша, выскочив из кареты, на цыпочках побежала по грязи в ворота.

— Коли мне плохо, это не резон, чтобы вам не завтракать,— слегка улыбаясь, сказала больная доктору, который стоял у окна.

«Никому им до меня дела нет,— прибавила она про себя, как только доктор, тихим шагом отойдя от нее, рысью взбежал на ступени станции.— Им хорошо, так и все равно. О! боже мой!»

— Ну что, Эдуард Иванович,— сказал муж, встречая доктора и с веселой улыбкой потирая руки,— я велел погребец принести, вы как думаете насчет этого?

— Можно,— отвечал доктор.

— Ну, что она?— со вздохом спросил муж, понижая голос и поднимая брови.

— Я говорил: она не может доехать не только до Италии,— до Москвы дай бог. Особенно по этой погоде.

— Так что ж делать? Ах, боже мой! боже мой!— Муж закрыл глаза рукою.— Подай сюда,— прибавил он человеку, вносившему погребец.

— Оставаться надо было,— пожав плечами, отвечал доктор.

— Да скажите, что же я мог сделать?— возразил муж,— ведь я употребил все, чтобы удержать ее, я говорил и о средствах, и о детях, которых мы должны оставить, и о моих делах,— она ничего слышать не хочет. Она делает планы о жизни за границей, как бы здоровая. А сказать ей о ее положении — ведь это значило бы убить ее.

— Да она уже убита, вам надо знать это, Василий Дмитрич. Человек не может жить, когда у него нет легких, и легкие опять вырасти не могут. Грустно, тяжело, но что ж делать? Наше и ваше дело только в том, чтобы конец ее был сколь возможно спокоен. Тут духовник нужен.

— Ах, боже мой! да вы поймите мое положение, напоминая ей о последней воле. Пусть будет, что будет, а я не скажу ей этого. Ведь вы знаете, как она добра...

— Все-таки попробуйте уговорить ее остаться до зимнего пути,— сказал доктор, значительно покачивая головой,— а то дорогой может быть худо...

— Аксюша, а Аксюша!— визжала смотрительская дочь, накинув на голову кацавейку и топчась на грязном заднем крыльце,— пойдем ширкинскую барыню посмотрим, говорят, от грудной болезни за границу везут. Я никогда еще не видала, какие в чахотке бывают.

Аксюша выскочила на порог, и обе, схватившись за руки, побежали за ворота. Уменьшив шаг, они прошли мимо кареты и заглянули в опущенное окно. Больная повернула к ним голову, но, заметив их любопытство, нахмурилась и отвернулась.

— Мм-а-тушки!— сказала смотрительская дочь, быстро оборачивая голову.— Какая была красавица чудная, нынче что стало? Страшно даже. Видела, видела, Аксюша?

— Да, какая худая!— поддакивала Аксюша.— Пойдем еще посмотрим, будто к колодцу. Вишь, отвернулась, а я еще видела. Как жалко, Маша.

— Да и грязь же какая!— отвечала Маша, и обе побежали назад в ворота.

«Видно, я страшна стала,— думала больная.— Только бы поскорей, поскорей за границу, там я скоро поправлюсь».

— Что, как ты, мой друг?— сказал муж, подходя к карете и прожевывая кусок.

«Все один и тот же вопрос,— подумала больная,— а сам ест!»

— Ничего!— пропустила она сквозь зубы.

— Знаешь ли, мой друг, я боюсь, тебе хуже будет от дороги в эту погоду, и Эдуард Иваныч то же говорит. Не вернуться ли нам?

Она сердито молчала.

— Погода поправится, может быть, путь установится, и тебе бы лучше стало; мы бы и поехали все вместе.

— Извини меня. Ежели бы я давно тебя не слушала, я бы была теперь в Берлине и была бы совсем здорова.

— Что ж делать, мой ангел, невозможно было, ты знаешь. А теперь, ежели бы ты осталась на месяц, ты бы славно поправилась; я бы кончил дела, и детей бы мы взяли...

— Дети здоровы, а я нет.

— Да ведь пойми, мой друг, что с этой погодой, ежели тебе сделается хуже дорогой... тогда по крайней мере дома.

— Что ж, что дома?.. Умереть дома?— вспыльчиво отвечала больная. Но слово *умереть*, видимо, испугало ее, она умоляюще и вопросительно посмотрела на мужа. Он опустил глаза и молчал. Рот больной вдруг детски изогнулся, и слезы полились из ее глаз. Муж закрыл лицо платком и молча отошел от кареты.

— Нет, я поеду,— сказала больная, подняла глаза к небу, сложила руки и стала шептать несвязные слова.— Боже мой! за что же?— говорила она, и слезы лились сильнее. Она долго и горячо молилась, но в груди так же было больно и тесно, в небе, в полях и по дороге было так же серо и пасмурно и та же осенняя мгла ни чаще, ни реже, а все так же сыпалась на грязь дороги, на крыши, на карету и на тулупы ямщиков, которые, переговариваясь сильными, веселыми голосами, мазали и закладывали карету...

. . . .

II

Карета была заложена; но ямщик мешкал. Он зашел в ямскую избу. В избе было жарко, душно, темно и тяжело, пахло жильем, печеным хлебом, капустой и овчиной. Несколько человек ямщиков было в горнице, кухарка возилась у печи, на печи в овчинах лежал больной.

— Дядя Хведор! а дядя Хведор,— сказал молодой парень, ямщик в тулупе и с кнутом за поясом, входя в комнату и обращаясь к больному.

— Ты чаво, шабала, Федьку спрашиваешь?— отозвался один из ямщиков,— вишь, тебя в карету ждут.

— Хочу сапог попросить; свои избил,— отвечал парень, вскидывая волосами и оправляя рукавицы за поясом.— Аль спит? А дядя Хведор?— повторил он, подходя к печи.

— Чаво?— послышался слабый голос, рыжее худое лицо нагнулось с печи. Широкая, исхудалая и побледневшая рука, покрытая волосами, натягивала армяк на острое плечо в грязной рубахе.— Дай испить, брат; ты чаво?

Парень подал ковшик с водой.

— Да что, Федя,— сказал он, переминаясь,— тебе, чай, сапог новых не надо теперь; отдай мне, ходить, чай, не будешь.

Больной, припав усталой головой к глянцевитому ковшу и макая редкие отвисшие усы в темной воде, слабо и жадно пил. Спутанная борода его была нечиста, впалые, тусклые глаза с трудом поднялись на лицо парня. Отстав от воды, он хотел поднять руку, чтобы отереть мокрые губы, но не мог и отерся о рукав армяка. Молча и тяжело дыша носом, он смотрел прямо в глаза парню, сбираясь с силами.

— Може, ты кому пообещал уже,— сказал парень,— так даром. Главное дело, мокреть на дворе, а мне с работой ехать, я и подумал себе: дай у Федьки сапог попрошу, ему, чай, не надо. Може, тебе самому надобны, ты скажи...

В груди больного что-то стало переливаться и бурчать; он перегнулся и стал давиться горловым, неразрешавшимся кашлем.

— Уж где надобны,— неожиданно сердито на всю избу затрещала кухарка,— второй месяц с печи не слезает. Вишь, надрывается, даже у самой внутренность болит, как слышишь только. Где ему сапоги надобны? В новых сапогах хоронить не станут. А уж давно пора, прости господи согрешенье. Вишь, надрывается. Либо перевесть его, что ль, в избу в другую, или куда! Такие больницы, слышь, в городу есть; а то разве дело — занял весь угол, да и шабаш. Нет тебе простору никакого. А тоже, чистоту спрашивают.

— Эй, Серега! иди садись, господа ждут,— крикнул в дверь почтовый староста.

Серега хотел уйти, не дождавшись ответа, но больной глазами, во время кашля, давал ему знать, что хочет ответить.

— Ты сапоги возьми, Серега,— сказал он, подавив кашель и отдохнув немного.— Только, слышь, камень купи, как помру,— хрипя, прибавил он.

— Спасибо, дядя, так я возьму, а камень, ей-ей, куплю.

— Вот, ребята, слышали,— мог выговорить еще больной и снова перегнулся вниз и стал давиться.

— Ладно, слышали,— сказал один из ямщиков.— Иди, Серега, садись, а то вон опять староста бежит. Барыня, вишь, ширкинская больная.

Серега живо скинул свои прорванные, несоразмерно большие сапоги и швырнул под лавку. Новые сапоги дяди Федора пришлись как раз по ногам, и Серега, поглядывая на них, вышел к карете.

— Эк сапоги важные! дай помажу,— сказал ямщик с помазкою в руке, в то время как Серега, влезая на козлы, подбирал вожжи.— Даром отдал?

— Аль завидно?— отвечал Серега, приподнимаясь и повертывая около ног полы армяка.— Пущай! Эх вы, любезные!— крикнул он на лошадей, взмахнув кнутиком; и карета и коляска с своими седоками, чемоданами и важами, скрываясь в сером осеннем тумане, шибко покатились по мокрой дороге.

Больной ямщнк остался в душной нзбе иа печи н, не выкашлявшнсь, через силу перевериулся иа другой бок н затих.

В нзбе до вечера прнходнлн, уходили, обедалн,— больного было не слышио. Перед ночью кухарка влезла иа печь и через его иогн достала тулуп.

— Ты иа меия ие серчай, Настасья,— проговорнл больиой,— скоро опростаю угол-то твой.

— Ладио, ладно, что ж, инчаво,— пробормотала Настасья.— Да что у тебя болнт-то, дядя? Ты скажн.

— Нутро все изиыло. Бог его зиает что.

— Небось и глотка болнт, как кашляешь?

— Везде больио. Смерть моя прншла — вот что. Ох, ох, ох!— простоиал больной.

— Ты иогн-то укрой вот так,— сказала Настасья, по дороге натягнвая на иего армяк и слезая с печи.

Ночью в нзбе слабо светнл иочинк. Настасья и человек десять ямщнков с громкнм храпом спали на полу н по лавкам. Одии больной слабо кряхтел, кашлял и ворочался иа печн. К утру ои затих совершеино.

— Чудно́ что-то я иыиче во сне видела,— говорнла кухарка, в полусвете потягиваясь на другое утро.— Вижу я, будто дядя Хведор с печи слез н пошел дрова рубить. Дай, говорнт, Настя, я тебе подсоблю; а я ему говорю: куда уж тебе дрова рубить, а ои как схватнт топор да и почиет рубить, так шибко, шнбко, только щепкн летят. Что ж, я говорю, ты ведь болеи был. Нет, говорит, я здоров, да как замахнется, иа меня страх и иашел. Как я закричу, и просиулась. Уж ие помер ли? Дядя Хведор! а дядя!

Федор ие откликался.

— И то, ие помер лн? Пойтн посмотреть,— сказал одии нз проснувшнхся ямщнков.

Свнсшая с печи худая рука, покрытая рыжеватыми волосами, была холодна и бледна.

— Пойтн смотрителю сказать, кажнсь, помер,— сказал ямщнк.

Родных у Федора не было — ои был дальиий. На другой день его похоронилн иа иовом кладбище, за рощей, н Настасья несколько дней рассказывала всем про сон, который оиа вндела, и про то, что она первая хватнлась дядн Федора.

III

Пришла весна. По мокрым улнцам города, между навознымн льдиииками, журчалн тороплнвые ручьн; цвета одежд н звуки говора двнжущегося народа былн яркн. В саднках за заборамн пухиули почки дерев, и ветвн нх чуть слышно покачнвалнсь от свежего ветра. Везде лнлнсь и капалн прозрачиые каплн... Воробьн нескладио подпнскнвали н подпархивалн на своих малеиькнх крыльях. На солиечиой стороне, на заборах, домах и деревьях, все двнгалось и блестело. Радостио, молодо было н на иебе, и на земле, н в сердце человека.

На одиой из главных улиц, перед большим барским домом, была постелена свежая солома; в доме была та самая умирающая больная, которая спешнла за граинцу.

У затвореиных дверей комиаты стоял муж больной и пожнлая женщнна. На днване сндел священиик, опустнв глаза н держа что-то завернутым в епнтрахнли. В углу, в вольтеровском кресле, лежала старушка — мать больиой — и горько плакала. Подле иее горничная держала на руке чистый иосовой платок, дожидаясь, чтобы старушка спросила его; другая чем-то терла вискн старушки н дула ей под чепчик в седую голову.

— Ну, Христос с вамн, мой друг,— говорнл муж пожилой жеищине, стоявшей с инм у дверн,— она такое нмеет доверие к вам, вы так умеете говорнть с ией, уговорнте ее хорошенько, голубушка, ндите же.— Ои хотел уже отворнть ей дверь; ио кузнна удержала его, прнложила несколько раз платок к глазам и встряхнула головой.

— Вот теперь, кажется, я не заплакана,— сказала она н, сама отворнв дверь, прошла в иее.

Муж был в снльиом волненнн и казался совершеино растеряи. Он иаправился было к старушке; но, ие дойдя несколько шагов, повериулся, прошел по комнате н подошел к свяшеннику. Священинк посмотрел на него, поднял бровн к иебу н вздохнул. Густая, с проседью бородка тоже поднялась кверху н опустнлась.

— Боже мой! Боже мой!— сказал муж.

— Что делать?— вздыхая, сказал свящеиинк, и сиова бровн н бородка его поднялнсь кверху и опустились.

— И матушка тут!— почтн с отчаяньем сказал муж.— Оиа ие вынесет этого. Ведь так любнть, так любнть ее, как оиа... я не знаю. Хоть бы вы, батюшка, попытались успоконть ее н уговорнть уйтн отсюда.

Священиинк встал н подошел к старушке.

— Точно-с, матернинское сердце ннкто оценнть ие может,— сказал он,— однако бог мнлосерд.

Лицо старушкн вдруг стало все подергнваться, н с ией сделалась нстерническая нкота.

— Бог мнлосерд,— продолжал священник, когда оиа успоконлась иемного.— Я вам доложу, в моем прнходе был одни больной, много хуже Марьн Дмнтрневны, и что же, простой мещанин травамн вылечил в короткое время. И даже мещаннн этот самый теперь в Москве. Я говорил Васнлию Дмитриевнчу — можио бы нспытать. По крайностн утешеиье для больной бы было. Для бога все возможно.

— Нет, уже ей не жнть,— проговорила старушка,— чем бы меня, а ее бог берет.— И нстерическая нкота уснлнлась так, что чувства оставилн ее.

Муж больной закрыл лнцо рукамн н выбежал нз комнаты.

В корндоре первое лнцо, встретнвшее его,

был шестилетний мальчик, во весь дух догоиявшнй младшую девочку.

— Что ж детей-то, ие прикажете к мамаше сводить?— спросила иняя.

— Нет, оиа ие хочет их видеть. Это расстроит ее.

Мальчик остаиовился иа мииуту, пристально всматриваясь в лицо отца, и вдруг подбрыкнул иогой и с веселым криком побежал дальше.

— Это оиа будто бы вороная, папаша!— прокричал мальчик, указывая иа сестру.

Между тем в другой комнате кузнна сидела подле больной и нскусно веденным разговором старалась приготовить ее к мысли о смерти. Доктор у другого окиа мешал питье.

Больиая, в белом капоте, вся обложеииая подушками, сидела иа постели и молча смотрела иа кузиину.

— Ах, мой друг,— сказала оиа, неожидаино перебивая ее,— не приготавливайте меия. Не считайте меия за дитя. Я христианка. Я все зиаю. Я зиаю, что мие жить недолго, я зиаю, что ежели бы муж мой раиьше послушал меия, я бы была в Италии и, может быть,— даже иаверио,— была бы здорова. Это все ему говорили. Но что ж делать, видно, богу было так угодио. На всех иас миого грехов, я зиаю это; ио надеюсь на милость бога, всем простится, должио быть, всем простнтся. Я стараюсь поиять себя. И иа мие было много грехов, мой друг. Но зато сколько я выстрадала. Я старалась сиосить с терпеиьем свои страдаиья...

— Так позвать батюшку, мой друг? вам будет еще легче, причастившнсь,— сказала кузиина.

Больиая иагнула голову в зиак согласья.

— Боже! прости меия грешную,— прошептала оиа.

Кузиия вышла и мигнула батюшке.

— Это аигел!— сказала она мужу с слезами иа глазах.

Муж заплакал, священиик прошел в дверь, старушка все еще была без памяти, и в первой комиате стало совершеиио тихо. Чрез пять мииут священиик вышел нз двери и, сияв епитрахиль, оправил волосы.

— Слава богу, оие спокойиее теперь,— сказал он,— желают вас видеть.

Кузиия и муж вышли. Больиая тихо плакала, глядя на образ.

— Поздравляю тебя, мой друг,— сказал муж.

— Благодарствуй! Как мне теперь хорошо стало, какую непоиятиую сладость я испытываю,— говорнла больная, и легкая улыбка играла иа ее тонких губах.— Как бог милостив! Не правда ли, ои милостив и всемогущ?— И она сиова с жадиой мольбой смотрела полными слез глазами на образ.

Потом вдруг как будто что-то вспомнилось ей. Оиа знаками подозвала к себе мужа.

— Ты никогда ие хочешь сделать, что я прошу,— сказала оиа слабым и иедовольиым голосом.

Муж, вытяиув шею, покорио слушал ее.

— Что, мой друг?

— Сколько раз я говорила, что эти доктора ничего не зиают, есть простые лекарки, оии вылечивают... Вот батюшка говорил... мещаинн... Пошли.

— За кем, мой друг?

— Боже мой! ничего ие хочет понимать!..— И больная сморщилась и закрыла глаза.

Доктор, подойдя к ией, взял ее за руку. Пульс заметио бился слабее и слабее. Ои мигиул мужу. Больная заметила этот жест и испуганно оглянулась. Кузина отвериулась и заплакала.

— Не плачь, не мучь себя и меня,— говорила больиая,— это отиимает у меия последиее спокойствие.

— Ты ангел!— сказала кузина, целуя ее руку.

— Нет, сюда поцелуй, только мертвых целуют в руку. Боже мой! Боже мой!

В тот же вечер больиая уже была тело, и тело в гробу стояло в зале большого дома. В большой комиате с затвореииымн дверями сидел одии дьячок и в иос, мерным голосом, читал песии Давида. Яркий восковой свет с высоких серебряиых подсвечииков падал на бледиый лоб усопшей, иа тяжелые восковые руки и окамеиелые складки покрова, страшио поднимающегося на колеиях и пальцах ног. Дьячок, не поиимая своих слов, мерио читал, и в тихой комиате страино звучали и замирали слова. Изредка из дальней комнаты долетали звуки детских голосов и их топота.

«Сокроешь лицо твое — смущаются,— гласил псалтырь,— возьмешь от них дух — умирают и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух твой — созидаются и обиовляют лицо земли. Да будет господу слава вовеки».

Лицо усопшей было строго, спокойно и велнчаво. Нн в чистом холодном лбе, ин в твердо сложеииых устах ничто не двигалось. Оиа вся была внимаиие. Но понимала ли она хоть теперь великие слова эти?

IV

Через месяц над могнлой усопшей воздвиглась каменная часовня. Над могилой ямщика все еще не было камня, и только светло-зеленая трава пробивала над бугорком, служнвшнм едннственным прнзиаком прошедшего существоваиия человека.

— А грех тебе будет, Серега,— говорила раз кухарка на станции,— коли ты Хведору камия не купншь. То говорил: зима, знма, а нынче что ж слова не держишь? Ведь при мие было. Он уж прнходил к тебе раз проснть, не купншь, еще раз придет, душить станет.

— Да что, я разве отрекаюсь,— отвечал Серега,— я камеиь куплю, как сказал, куплю,

в полтора целковых куплю. Я не забыл, да ведь привезть надо. Как случай в город будет, так и куплю.

— Ты бы хошь крест поставил, вот что,— отозвался старый ямщик,— а то впрямь дурно. Сапоги-то носишь.

— Где его возьмешь, крест-то? из полена не вытешешь?

— Что говоришь-то? Из полена не вытешешь, возьми топор да в рощу пораньше сходи, вот и вытешешь. Ясенку ли, что ли, срубишь. Вот и голубец будет. А то, поди, еще объездчика пой водкой. За всякой дрянью поить не наготовишься. Вон я намедни вагу сломал, новую вырубил важную, никто слова не сказал.

Ранним утром, чуть зорька, Серега взял топор и пошел в рощу.

На всем лежал холодный матовый покров еще падавшей, не освещенной солнцем росы. Восток незаметно яснел, отражая свой слабый свет на подернутом тонкими тучами своде неба. Ни одна травка внизу, ни один лист на верхней ветви дерева не шевелились. Только изредка слышавшиеся звуки крыльев в чаще дерева или шелеста по земле нарушали тишину леса. Вдруг странный, чуждый природе звук разнесся и замер на опушке леса. Но снова послышался звук и равномерно стал повторяться внизу около ствола одного из неподвижных деревьев. Одна из макуш необычайно затрепетала, сочные листья ее зашептали что-то, и малиновка, сидевшая на одной из ветвей ее, со свистом перепорхнула два раза и, подергивая хвостиком, села на другое дерево.

Топор низом звучал глуше и глуше, сочные белые щепки летели на росистую траву, и легкий треск послышался из-за ударов. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновенье все затихло, но снова погнулось дерево, снова послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось макушей на сырую землю. Звуки топора и шагов затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. Ветка, которую она зацепила своими крыльями, покачалась несколько времени и замерла, как и другие, со всеми своими листьями. Деревья еще радостнее красовались на новом просторе своими неподвижными ветвями.

Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах, роса, блестя, заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки спеша разбегались по синевшему своду. Птицы гомозились в чаще и, как потерянные, щебетали что-то счастливое; сочные листья радостно и спокойно шептались в вершинах, и ветви живых дерев медленно, величаво зашевелились над мертвым, поникшим деревом.

1858

ПОСЛЕ БАЛА

Рассказ

— Вот вы говорите, что человек не может сам по себе понять, что хорошо, что дурно, что все дело в среде, что среда заедает. А я думаю, что все дело в случае. Я вот про себя скажу.

Так заговорил всеми уважаемый Иван Васильевич после разговора, шедшего между нами, о том, что для личного совершенствования необходимо прежде изменить условия, среди которых живут люди. Никто, собственно, не говорил, что нельзя самому понять, что хорошо, что дурно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать эпизоды из своей жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более что рассказывал он очень искренно и правдиво.

Так он сделал и теперь.

— Я про себя скажу. Вся моя жизнь сложилась так, а не иначе, не от среды, а совсем от другого.

— От чего же?— спросили мы.

— Да это длинная история. Чтобы понять, надо много рассказывать.

— Вот вы и расскажите.

Иван Васильевич задумался, покачал головой.

— Да,— сказал он.— Вся жизнь переменилась от одной ночи, или скорее утра.

— Да что же было?

— А было то, что был я сильно влюблен. Влюблялся я много раз, но это была самая моя сильная любовь. Дело прошлое; у нее уже дочери замужем. Это была Б..., да, Варенька Б...,— Иван Васильевич назвал фамилию.— Она и в пятьдесят лет была замечательная красавица. Но в молодости, восемнадцати лет, была прелестна: высокая, стройная, грациозная и величественная, именно величественная. Держалась она всегда необыкновенно прямо, как будто не могла иначе, откинув немного назад голову, и это давало ей, с ее красотой и высоким ростом, несмотря на ее худобу, даже костлявость, какой-то царственный вид, который отпугивал бы от нее, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта, и прелестных блестящих глаз, и всего ее милого, молодого существа.

— Каково Иван Васильевич расписывает.

— Да как ни расписывай, расписать нельзя

так, чтобы вы поняли, какая она была. Но не в том дело: то, что я хочу рассказать, было в сороковых годах. Был я в то время студентом в провинциальном университете. Не знаю, хорошо ли это или дурно, но не было у нас в то время в нашем университете никаких кружков, никаких теорий, а были мы просто молоды и жили, как свойственно молодости: учились и веселились. Был я очень веселый и бойкий малый, да еще и богатый. Был у меня иноходец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде), кутил с товарищами (в то время мы ничего, кроме шампанского, не пили; не было денег — ничего не пили, но не пили, как теперь, водку). Главное же мое удовольствие составляли вечера и балы. Танцевал я хорошо и был не безобразен.

— Ну, нечего скромничать,— перебила его одна из собеседниц.— Мы ведь знаем ваш еще дагерротипный портрет. Не то что не безобразен, а вы были красавец.

— Красавец так красавец, да не в том дело. А дело в том, что во время этой моей самой сильной любви к ней был я в последний день масленицы на бале у губернского предводителя, добродушного старичка, богача-хлебосола и камергера. Принимала такая же добродушная, как и он, жена его в бархатном пюсовом платье, в брильянтовой фероньерке на голове и с открытыми старыми, пухлыми, белыми плечами и грудью, как портреты Елизаветы Петровны. Бал был чудесный: зала прекрасная, с хорами, музыканты — знаменитые в то время крепостные помещика-любителя, буфет великолепный и разливанное море шампанского. Хоть я и охотник был до шампанского, но не пил, потому что без вина был пьян любовью, но зато танцевал до упаду — танцевал и кадрили, и вальсы, и польки, разумеется, насколько возможно было, всё с Варенькой. Она была в белом платье с розовым поясом и в белых лайковых перчатках, немного не доходивших до худых, острых локтей, и в белых атласных башмачках. Мазурку отбили у меня: препротивный инженер Анисимов — я до сих пор не могу простить это ему — пригласил ее, только что она вошла, а я заезжал к парикмахеру и за перчатками и опоздал. Так что мазурку я танцевал с ней, а с одной немочкой, за которой я немного ухаживал прежде. Но, боюсь, в этот вечер был очень неучтив с ней, не говорил с ней, не смотрел на нее, а видел только высокую, стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, зарумянившееся с ямочками лицо и ласковые, милые глаза. Не я один, все смотрели на нее и любовались ею, любовались и мужчины, и женщины, несмотря на то, что она затмила их всех. Нельзя было не любоваться.

По закону, так сказать, мазурку я танцевал не с нею, но в действительности танцевал я почти все время с ней. Она, не смущаясь, через всю залу шла прямо ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней и она не угадывала моего качества, она подавая руку не мне, пожимала худыми плечами и, в знак сожаления и утешения, улыбалась мне. Когда делали фигуры мазурки вальсом, я подолгу вальсировал с нею, и она, часто дыша, улыбалась и говорила мне: «Encore»[1]. И я вальсировал еще и еще и не чувствовал своего тела.

— Ну, как же не чувствовали, я думаю, очень чувствовали, когда обнимали ее за талию, не только свое, но и ее тело,— сказал один из гостей.

Иван Васильевич вдруг покраснел и сердито закричал почти:

— Да, вот это вы, нынешняя молодежь. Вы, кроме тела, ничего не видите. В наше время было не так. Чем сильнее я был влюблен, тем бестелеснее становилась для меня она. Вы теперь видите ноги, щиколки и еще что-то, вы раздеваете женщин, в которых влюблены, для меня же, как говорил Alphonse Karr[2],— хороший был писатель,— на предмете моей любви были всегда бронзовые одежды. Мы не то что раздевали, а старались прикрыть наготу, как добрый сын Ноя. Ну, да вы не поймете...

— Не слушайте его. Дальше что?— сказал один из нас.

— Да. Так вот танцевал я больше с нею и не видал, как прошло время. Музыканты уж с каким-то отчаянием усталости, знаете, как бывает в конце бала, подхватывали всё тот же мотив мазурки, из гостиных поднялись уже от карточных столов папаши и мамаши, ожидая ужина, лакеи чаще забегали, пронося что-то. Был третий час. Надо было пользоваться последними минутами. Я еще раз выбрал ее, и мы в сотый раз прошли вдоль залы.

— Так после ужина кадриль моя?— сказал я ей, отводя ее к ее месту.

— Разумеется, если меня не увезут,— сказала она, улыбаясь.

— Я не дам,— сказал я.

— Дайте же веер,— сказала она.

— Жалко отдавать,— сказал я, подавая ей белый дешевенький веер.

— Так вот вам, чтоб вы не жалели,— сказала она, оторвала перышко от веера и дала мне.

Я взял перышко и только взглядом мог выразить весь свой восторг и благодарность. Я был не только весел и доволен, я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно добро. Я спрятал перышко в перчатку и стоял, не в силах отойти от нее.

— Смотрите, папа́ просят танцевать,— сказала она мне, указывая на высокую статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами, стоявшего в дверях с хозяйкой и другими дамами.

---

[1] Еще *(фр.)*.
[2] Альфонс Карр *(фр.)*.

— Варенька, подите сюда,— услышали мы громкий голос хозяйки в брильянтовой фероньерке и с елисаветинскими плечами.

Варенька подошла к двери, и я за ней.

— Уговорите, ma chere[1], отца пройтись с вами. Ну, пожалуйста, Петр Владиславич,— обратилась хозяйка к полковнику.

Отец Вареньки был очень красивый, статный, высокий и свежий старик. Лицо у него было очень румяное, с белыми a la Nicolas I[2] подвитыми усами, белыми же, подведенными к усам бакенбардами и с зачесанными вперед височками, и та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в его блестящих глазах и губах. Сложен он был прекрасно, с широкой, небогато украшенной орденами, выпячивающейся по-военному грудью, с сильными плечами и длинными стройными ногами. Он был воинский начальник типа старого служаки николаевской выправки.

Когда мы подошли к дверям, полковник отказывался, говоря, что он разучился танцевать, но все-таки, улыбаясь, закинув на левую сторону руку, вынул шпагу из портупеи, отдал ее услужливому молодому человеку и, натянув замшевую перчатку на правую руку,— «надо всё по закону»,— улыбаясь, сказал он, взял руку дочери и стал в четверть оборота, выжидая такт.

Дождавшись начала мазурочного мотива, он бойко топнул одной ногой, выкинул другую, и высокая, грузная фигура его то тихо и плавно, то шумно и бурно, с топотом подошв и ноги об ногу, задвигалась вокруг залы. Грациозная фигура Вареньки плыла около него, незаметно, вовремя укорачивая или удлиняя шаги своих маленьких белых атласных ножек. Вся зала следила за каждым движением пары. Я же не только любовался, но с восторженным умилением смотрел на них. Особенно умилили меня его сапоги, обтянутые штрипками,— хорошие опойковые сапоги, но не модные, с острыми, а старинные, с четвероугольными носками и без каблуков. Очевидно, сапоги были построены батальонным сапожником. «Чтобы вывозить и одевать любимую дочь, он не покупает модных сапог, а носит домодельные»,— думал я, и эти четвероугольные носки сапог особенно умиляли меня. Видно было, что он когда-то танцевал прекрасно, но теперь был грузен, и ноги уже не были достаточно упруги для всех тех красивых и быстрых па, которые он старался выделывать. Но он все-таки ловко прошел два круга. Когда же он, быстро расставив ноги, опять соединил их и, хотя и несколько тяжело, упал на одно колено, а она, улыбаясь и поправляя юбку, которую он зацепил, плавно прошла вокруг него, все громко зааплодировали. С некоторым усилием приподнявшись, он нежно, мило обхватил дочь руками за уши и, поцеловав в лоб, подвел ее ко мне, думая, что я танцую с ней. Я сказал, что не я ее кавалер.

— Ну, все равно, пройдитесь теперь вы с ней,— сказал он, ласково улыбаясь и вдевая шпагу в портупею.

Как бывает, что вслед за одной вылившейся из бутылки каплей содержимое ее выливается большими струями, так и в моей душе любовь к Вареньке освободила всю скрытую в моей душе способность любви. Я обнимал в то время весь мир своей любовью. Я любил и хозяйку в фероньерке, с ее елисаветинским бюстом, и ее мужа, и ее гостей, и ее лакеев, и даже дувшегося на меня инженера Анисимова. К отцу же ее, с его домашними сапогами и ласковой, похожей на нее, улыбкой, я испытывал в то время какое-то восторженно-нежное чувство.

Мазурка кончилась, хозяева просили гостей к ужину, но полковник Б. отказался, сказав, что ему надо завтра рано вставать, и простился с хозяевами. Я было испугался, что и ее увезут, но она осталась с матерью.

После ужина я танцевал с нею обещанную кадриль, и, несмотря на то, что был, казалось, бесконечно счастлив, счастье мое все росло и росло. Мы ничего не говорили о любви. Я не спрашивал ни ее, ни себя даже о том, любит ли она меня. Мне достаточно было того, что я любил ее. И я боялся только одного, чтобы что-нибудь не испортило моего счастья.

Когда я приехал домой, разделся и подумал о сне, я увидал, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко от ее веера и целая ее перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я подсаживал ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи и, не закрывая глаз, видел ее перед собой то в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, угадывает мое качество, и слышу ее милый голос, когда она говорит: *«Гордость? да?»*— и радостно подает мне руку или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья смотрит на меня ласкающими глазами. Но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно двигается около него и с гордостью и радостью и за себя и за него взглядывает на любующихся зрителей. И я невольно соединяю его и ее в одном нежном, умиленном чувстве.

Жили мы тогда одни с покойным братом. Брат и вообще не любил света и не ездил на балы, теперь же готовился к кандидатскому экзамену и вел самую правильную жизнь. Он спал. Я посмотрел на его уткнутую в подушку и закрытую до половины фланелевым одеялом голову, и мне стало любовно жалко его, жалко за то, что он не знал и не разделял того счастья, которое я испытывал. Крепостной наш лакей Петруша встретил меня со свечой и хотел помочь мне раздеваться, но я отпустил его. Вид его заспанного лица с спутанными волосами показался мне умилительно трогательным. Стараясь не шуметь, я на цыпочках прошел в свою комнату и сел на постель. Нет, я был слишком счастлив, я не мог спать. Притом мне жарко было в натопленных комнатах, и я, не снимая мундира,

---

[1]дорогая *(фр.)*.
[2]как у Николая I *(фр.)*.

потихоньку вышел в переднюю, надел шннель, отворнл наружную дверь н вышел на улнцу.

С бала я уехал в пятом часу, пока доехал домой, посндел дома, прошло еще часа два, так что, когда я вышел, уже было светло. Была самая масленнчная погода, был туман, насыщенный водою снег таял на дорогах, и со всех крыш капало. Жнлн Б. тогда на конце города, подле большого поля, на одном конце которого было гулянье, а на другом — девнческнй ннститут. Я прошел наш пустынный переулок н вышел на большую улицу, где сталн встречаться н пешеходы, н ломовые с дровамн на санях, достававшнх полозьямн до мостовой. И лошадн, равномерио покачнвающне под глянцевитымн дугамн мокрымн головами, и покрытые рогожкамн нзвозчикн, шлепавшне в огромных сапогах подле возов, и дома улнцы, казавшнеся в тумаие очень высокимн,— все было мие особенно мнло н значительно.

Когда я вышел на поле, где был нх дом, я увидал в конце его, по направленню гулянья, что-то большое, черное н услыхал доноснвшнеся оттуда звукн флейты н барабана. В душе у меия все время пело н нзредка слышался мотнв мазуркн. Но это была какая-то другая, жесткая, нехорошая музыка.

«Что это такое?»— подумал я и по проезженной посередине поля скользкой дороге пошел по иаправлению звуков. Пройдя шагов сто, я из-за тумаиа стал различать много черных людей. Очевидно, солдаты. «Верно, учеиье»,— подумал я н вместе с кузнецом в засаленном полушубке н фартуке, несшнм что-то н шедшнм передо мной, подошел блнже. Солдаты в черных мунднрах стоялн двумя рядами друг против друга, держа ружья к ноге, и не двнгались. Позадн нх стоялн барабанщик н флейтщик н ие переставая повторяли всё ту же иепрнятную, визгливую мелодию.

— Что это онн делают?— спроснл я у кузнеца, остановнвшегося рядом со мною.

— Татарина гоняют за побег,— серднто сказал кузиец, взглядывая в дальннй конец рядов.

Я стал смотреть туда же и увндал посредн рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. Прнблнжающееся ко мие был оголенный по пояс человек, прнвязаииый к ружьям двух солдат, которые вели его. Рядом с ннм шел высокий военный в шннели н фуражке, фнгура которого показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногамн по талому снегу, наказываемый, под сыпавшнмнся с обенх сторон на него ударамн, подвнгался ко мне, то опрокндываясь назад — н тогда унтер-офнцеры, ведшне его за ружья, толкалн его вперед, то падая наперед — н тогда унтер-офицеры, удержнвая его от падения, тянулн его иазад. И не отставая от него, шел твердой, подрагнвающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяиым лнцом и белымн усамн н бакенбардамн.

Прн каждом ударе наказываемый, как бы уднвляясь, поворачивал сморщенное от страдання лнцо в ту сторону, с которой падал удар, н, оскалнвая белые зубы, повторял какне-то однн н те же слова. Только когда он был совсем блнзко, я расслышал этн слова. Он не говорил, а всхлнпывал: «Братцы, помнлосердуйте. Братцы, помнлосердуйте». Но братцы не мнлосердовалн, н, когда шествне совсем поравнялось со мною, я вндел, как стоявшнй протнв меня солдат решнтельно выступнл шаг вперед и, со свистом взмахнув палкой, снльно шлепнул ею по спине татарнна. Татарнн дернулся вперед, но унтерофнцеры удержалн его, и такой же удар упал на него с другой стороны, н опять с этой, н опять с той. Полковннк шел подле и, поглядывая то себе под ногн, то на наказываемого, втягнвал в себя воздух, раздувая щеки, н медленно выпускал его через оттопыренную губу. Когда шествие мнновало то место, где я стоял, я мельком увидал между рядов спнну наказываемого. Это было что-то такое пестрое, мокрое, красное, неестественное, что я неповернл, чтобы это было тело человека.

— О господн,— проговорнл подле меня кузнец.

Шествне стало удаляться, все так же падалн с двух сторон удары на спотыкающегося, корчившегося человека, н все так же бнлн барабаны н свнстела флейта, н все так же твердым шагом двнгалась высокая, статная фнгура полковника рядом с наказываемым. Вдруг полковник остановнлся н быстро прнблнзнлся к одиому нз солдат.

— Я тебе помажу,— услыхал я его гневный голос.— Будешь мазать? Будешь?

И я вндел, как он своей снльной рукой в замшевой перчатке бнл по лнцу нспуганного малорослого, слабоснльного солдата за то, что ои недостаточио сильно опустил свою палку иа красную спнну татарнна.

— Подать свежих шпнцрутеиов!— крикнул он, оглядываясь, н увидал меия. Делая вид, что он ие зиает меия, ои, грозно н злобио нахмурившись, поспешно отвериулся. Мне было до такой степени стыдио, что, не зная, куда смотреть, как будто я был улнчен в самом постыдном поступке, я опустнл глаза н потороплся уйти домой. Всю дорогу в ушах у меня то бнла барабанная дробь н свнстела флейта, то слышались слова: «Братцы, помнлосердуйте», то я слышал самоуверенный, гиевный голос полковинка, крнчащего: «Будешь мазать? Будешь?» А между тем на сердце была почтн фнзическая, доходившая до тошноты, тоска, такая, что я несколько раз останавлнвался, и мне казалось, что вот-вот меня вырвет всем тем ужасом, который вошел в меня от этого зрелища. Не помню, как я добрался домой н лег. Но только стал засыпать, услыхал и увндал опять все н вскочнл.

«Очевндно, он что-то знает такое, чего я не знаю,— думал я про полковннка.— Еслн бы я знал то, что он знает, я бы поннмал н то, что я видел, н это не мучнло бы меня». Но сколько я ни думал, я не мог понять того, что знает полковинк, н заснул только к вечеру, н то после то-

го, как пошел к приятелю и напился с ним совсем пьян.

Что ж, вы думаете, что я тогда решил, что то, что я видел, было — дурное дело? Ничуть. «Если это делалось с такой уверенностью и признавалось всеми необходимым, то, стало быть, они знали что-то такое, чего я не знал»,— думал я и старался узнать это. Но сколько ни старался — и потом не мог узнать этого. А не узнав, не мог поступить в военную службу, как хотел прежде, и не только не служил в военной, но нигде не служил и никуда, как видите, не годился.

— Ну, это мы знаем, как вы никуда не годились,— сказал один из нас.— Скажите лучше: сколько бы людей никуда не годились, кабы вас не было.

— Ну, это уж совсем глупости,— с искренней досадой сказал Иван Васильевич.

— Ну, а любовь что?— спросили мы.

— Любовь? Любовь с этого дня пошла на убыль. Когда она, как это часто бывало с ней, с улыбкой на лице, задумывалась, я сейчас же вспоминал полковника на площади, и мне становилось как-то неловко и неприятно, и я стал реже видаться с ней. И любовь так и сошла на нет. Так вот какие бывают дела и от чего переменяется и направляется вся жизнь человека. А вы говорите...— закончил он.

Ясная Поляна, 20 августа 1903 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Толстой Л. Н.

Т53 Два гусара; Рассказы.— М.: Худож. лит., 1982. 95 с.

В книгу вошли: повесть «Два гусара», рассказы «Набег», «Севастопольские рассказы», «После бала» и др.

Т $\frac{4702010100-239}{028(01)-82}$ 33-82 Р1

Лев Николаевич
Толстой

ДВА ГУСАРА
РАССКАЗЫ

Редактор А. Краковская
Художественный редактор В. Серебряков
Технический редактор Л. Синицына
Корректоры
Л. Коншина и М. Чупрова

ИБ № 2627

Сдано в набор 03.11.81. Подписано в печать 21.12.81. Формат 60×84[1]/8. Бумага типогр. № 3. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 11,2. Усл кр.-отт. 11,9. Уч.-изд.л. 11,73. Изд № 1-768. Тираж 3 000 000 экз.7 зав. 1.800.001 — 2.100.000. Заказ 3474. Цена 95 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Типография изд-ва «Московская правда», ул. 1905 г., д. 7.

95 к.

